

БИБЛИОТЕКА

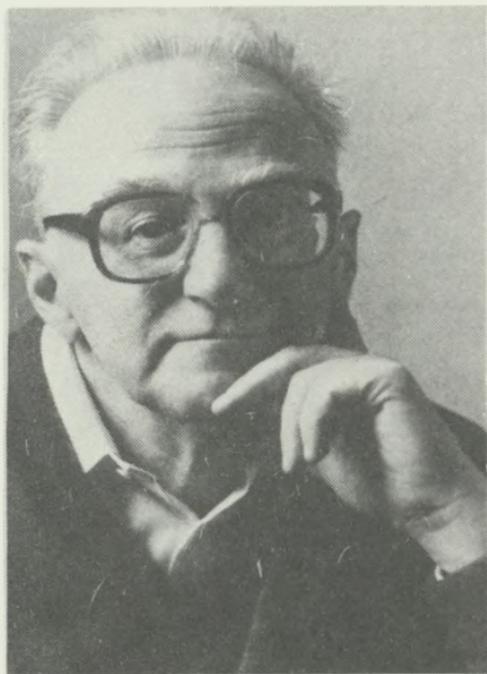
ISSN 0132-2095



ОГОНЕК

№ 26

1990



Борис ХАЗАНОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

СТРАХ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 26

Издается с января 1925 года

Борис ХАЗАНОВ

СТРАХ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1990

Борис ХАЗАНОВ

Борис Хазанов (Геннадий Файбусович) с 1982 года живет в Мюнхене (ФРГ). Отъезду его из Советского Союза предшествовало множество драматических событий. Расскажу лишь об одном из них — том, что стало «последней каплей».

В один прекрасный день, точнее, в одно прекрасное утро в его квартиру вломилась (это не метафора — именно вломилась) шестеро молодчиков, назвавшихся следователями Московской прокуратуры. Предъявив ордер на обыск и «изъятие материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым писатель в то время работал. Рукопись была изъята вся, целиком, до последней страницы. И рукописный оригинал, и машинописные копии (автор только начал перебеливать свой труд и успел перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали и который ему так и не вернули, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку. Урывать же приходилось, поскольку писательство было для него не профессией, а призванием: по профессии он врач и много лет трудился в этом качестве, а позже, оставив медицину, работал редактором в журнале «Химия и жизнь». Кстати, не исключено, что налет на квартиру, обыск и изъятие рукописи были санкционированы (после ареста романа В. Гроссмана наша литература других таких случаев как будто не знает) еще и потому, что в глазах тех, кто отдал этот чудовищный приказ, Г. Файбусович вовсе даже и не был писателем. Ведь слово «писатель» у нас обозначает не призвание и не профессию даже, а социальное положение.

Как бы то ни было, обыск был произведен и роман — вместе с другими рукописями — арестован.

Событие это, и само по себе впечатляющее, на Геннадия Файбусовича произвело особенно сильное впечатление, поскольку оно напомнило ему другие события его жизни, случившиеся за четверть века до вышеописанного: в 1947 году, не успев закончить последний курс филологического факультета МГУ, он был арестован и 8 лет провел в лагере.

Самое поразительное во всей этой истории было то, что изъятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественной и государственный строй не порочил. В кругу интересов автора романа (а круг этот, надо сказать, весьма широк: он — автор художественной биографии Ньютона и книг по истории медицины, переводчик философских писем Лейбница, блестящий знаток античности и средневековой теологии, эссеист и критик) — так вот, в кругу его интересов политика всегда занимала едва ли не последнее место.

В чем же дело? Чем по с у щ е с т в у был вызван этот внезапный налет следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой «акции» было то, что в 1976 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому интересна и дорога русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, наделившего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную участь горстки своих подданных, к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходящем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда (о, ужас!) в Израиле.

Те, кто задумал и осуществил налет на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте — более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вышло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Иерусалиме? Да еще под псевдонимом?

Сейчас повесть «Час короля» печатается в журнале «Химия и жизнь» (в том самом, где Геннадий Файбусович когда-то работал). Публикуются в нашей стране и другие книги Бориса Хазанова, в том числе и тот роман, рукопись которого была у писателя изъята. (Он восстановил его по памяти: можно себе представить, чего это ему стоило.)

Прочитав эти книги, советский читатель открывает для себя еще одного дотоле ему неизвестного замечательного писателя. Но даже и те несколько ранних его рассказов, которые составили эту маленькую книжечку, дают, как мне кажется, достаточно ясное представление о силе и самобытности художественного дарования Бориса Хазанова.

Бenedикт САРНОВ

СТРАХ

Повесть ни о чем

Время от времени я вспоминаю об этом, но не в силу определенной последовательности мыслей, как, например, побрившись, вспоминают, что пора завтракать; безо всякого повода, без напоминания, на работе, дома или в толпе, с бесцеремонностью нежданного посетителя осеняет мысль о потусторонних силах.

Сразу же оговорюсь, что я вовсе не имею в виду политическую сторону дела. То, о чем идет речь, — это отнюдь не учреждения, о которых вы, может быть, подумали, не те многоярусные громады без вывесок, с глухими воротами, с уходящими ввысь рядами квадратных окон, что придает им сходство с колумбариями. Суть дела не меняется оттого, что в разное время Силы принимают облик того или другого навязанного извне террора, и медиум не тождествен голосу, который вещает через него. Став, таким образом, на точку зрения, близкую спиритуалистической, я рискну утверждать, что не причина породила следствие, а следствие, если можно так выразиться, конструирует причину.

Очевидно, для каждого когда-нибудь наступает минута, когда перед ним, так сказать, рвется пополам покрывало Майи и он оказывается лицом к лицу с леденящей очевидностью факта. Боже милосердный, как же мы были молоды, когда это случилось с нами! Предыдущее поколение было искалечено войной, мы же с молодых ногтей были ранены страхом, мы пропитались им, он стал нашей сущностью и нашим ежеминутным бытием. И, однако же, никого из нас не убили: мы живы и тянем по-прежнему нашу жизнь — лишь уверенность, что мы слышали трупный запах, никогда не покидает нас.

Вернемся снова к тем дням — восстановим мысленно ситуацию, когда собственно факта нет: никто ничего не видел и ничего не знает наверняка. Эта реальность недоказуема: труп не разыскан, быть может, он лежит под полом или спрятан в холодильнике; при всем том, однако, каждый может сослаться на великое множество доказательств. То там, то здесь кто-то исчез, и сведения, поступающие из разных источников, неожиданно совпадают. Это — как в толпе, над которой реет луч прожектора: не каждому ударил он в глаза, но сколько их, видевших

над собою свечение воздуха. Да, вот, пожалуй, самое удачное сравнение — луч, рыщущий над головами.

Однако главное доказательство — внутри: как я уже сказал, работа секретных учреждений только реализует то, что заложено в душе. Как голос совести сформулировал доказательством существования Бога, так страх сам по себе — доказательство существования Сил, страх привлечь к себе внимание, быть подслушанным, высвеченным, страх наткнуться на луч, который проткнет и пригвоздит, как булавка пронзает дергающееся насекомое. Так смутное чувство мистической вины (перед кем и в чем?) обращается в постулат государственной неполноценности.

О том, что в подвале труп, об аппаратах, генерирующих лучи, знали многие, но знали как-то теоретически, как о тайфуне в Тихом океане. Близость губительного луча ощущалась внезапно, она была подобна неожиданному появлению грабителя. Страх охватывал мгновенно, он всецело овладевал вами — сказывалась подготовленность! — и первый момент был момент каталептической скованности, когда вдруг пропал звук в кино; окружающие беззвучно шевелят губами, беззвучно падают предметы... Этот миг можно также сравнить с тремоло в оркестре.

Первый шок — кто его не помнит? В дрожании наэлектризованного воздуха, в безмолвном грохоте стучащей в висках крови — перед глазами, в мозгу сияют два слова: в а м п о в е с т к а. Вызов в колумбарий. Ожидание, почти уверенность: придешь домой — и он на столе.

За этой минутой иррациональной неподвижности следовала эпоха иррациональной деятельности. Страх гнал вас вперед, как ветер — листья по тротуару, он высекал поступки, но скрытый смысл этой активности был внятн лишь тому, кто так же, как вы, ощутил близость луча.

Это — время деяний, коллекционирования заслуг; время вывешивания флагов, когда страх расцветал цветами патриотизма. Убежденные речи, каменная верность догме. Донос как встречная мера борьбы с предполагаемым доносчиком — превентивная война всех против всех. Уверенность, что сзади надвигается круг света, сейчас он коснется тебя, и паучьи лапы потащат в подвал, в преисподнюю — эта уверенность подвигала на неслыханные свершения. Это непрерывно дпящееся самоутверждение режима, жизнь — молебен, неустанное славословие, в сердцевине которого — страх...

Страх обирал вокруг себя гарантии лояльности; он исходил из уст ораторов, как запах гнилого зуба. Он взывал, как к последней правде, к священному имени Обожаемого — старого и, увы, смертельно напуганного человека! Вот значок с профилем Обожаемого — нацепить не мешкая. Вот портрет его на обрывке газеты в отхожем месте — убрать, утипить, пока не заметили. (Как будто не все равно будет, когда о н и придут.) Это также время опустошения: в письменном столе, аккуратных горок мелко порванной бумаги, лихорадочный поиск, листание книг, где усмежается вечная крамола классиков. Репетиция обыска. И до поздней ночи шумит вода в уборной.

Но странное дело: доказательства преданности выкладываются на стол, как козыри, одно за другим. А с кем игра? Кресло партнера пусто. Силы испарились, их нет, их не было. Луч ушел в облака...

Но даже если бы анонимные силы привели в исполнение свою угрозу, смерть была бы бесполезной — она не искупила бы ничьих мук. Ибо каждому из нас предначертано умереть за себя и больше ни за кого. Круглым счетом двадцать лет понадобилось, чтобы уразуметь эту истину, и кто знает, сколько еще лет пройдет, прежде чем мы поймем, что виной всему были мы сами, мы сами, мы сами...

Итак, позвольте мне перемотать ленту назад на двадцать лет, когда мир, безнадежно старый, казался нам юным, потому что мы сами были юны. Как и полагается в таких случаях, здесь только два действующих лица — он и она.

Должно быть, только однажды возможна эта любовь, которая обречена искать утolenия в самой себе, которая отрекается от желания и радостно и смиренно приемлет судьбу, — любовь, готовая до конца сублимироваться в обожание и восторг. Какое уж там желание, когда я едва осмеливался взглянуть на мою героиню, и единственное, о чем мечтал, — это дать ей какое-нибудь неслыханное доказательство верности — какое, я сам не знал.

Только во сне она возникала передо мною вся, невысказанно близкая, — и, просыпаясь на рассвете, я был угнетен стыдом и физическим ощущением уже совершившегося греха и тяжелого, изнурительного счастья.

Жизнь ее была эфирна и таинственна. После лекций, легко сбегая в толпе подруг по старой парадной лестнице аудиторного корпуса, Светлана — назову ее этим именем, модным в те годы, — исчезала в недоступном для меня мире, полном света и музыки, и на другой день я ревниво искал исподтишка на ее лице отсвет ее неведомых приключений. В сущности, я не знал Светлану: она была для меня гораздо больше символом женственности, чем знакомой девушкой. Чутьем она понимала это и, польщенная, не питала ко мне слишком теплых чувств. Девушки этого возраста и социального круга, насколько я могу судить, редко увлекаются сверстниками, которые кажутся им детьми. Думаю, что она забывала обо мне начисто, как только я исчезал у нее из виду; однако случилось так, что она сама позвонила ко мне домой и пожелала со мною встретиться. Это произошло в последних числах июня или первых — июля, в самом начале студенческих каникул.

Не стану утверждать, что этот год был отмечен особым знаком. По мне ужасную жару, светлые, пожалуй, слишком светлые для нашей полосы ночи в июне. С утра каблучки женщин отпечатывались на асфальте, солнце играло в тысячах стекол. Газеты пестрели некрологами, посвященными умершим от кровоизлияния в мозг. А по ночам над городом мерцал загадочный зодиакальный свет.

Как сейчас вижу поздний вечер, пустую комнату — родители уехали на дачу, — за столом неподвижную спину высокого, сутуловатого моло-

дого человека и затылок с косицами волос. Это я. Передо мной, опертая на хлебницу, стоит книжка Ганса Фаллады «Каждый умирает сам за себя».

Как вы помните, в ней рассказывается о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и потому тот, кто их произносил, был обречен заведомо, с самого начала. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован тайной полицией.

В этот день я с утра читал этот роман, которому суждено было сыграть какую-то неясную, но очень важную роль в моей жизни, и находился под сильным впечатлением от него.

Тыча вилкой мимо тарелки, я дошел до того места, когда комиссар объясняет, что бывает с теми, кого схватит гестапо. (В эту минуту раздался телефонный звонок.)

«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на табуретку, а прямо перед тобой поставят рефлектор страшной силы, и ты будешь все время смотреть на него и изнемогать от жары и нестерпимого света. И при этом они будут непрерывно допрашивать тебя, они будут меняться, но тебя никто не сменит, как бы ты ни был измучен. А когда ты упадешь от усталости, они поднимут тебя пинками и ударами кнута и будут поить тебя соленой водой, а когда...»

Телефон звонил и звонил в коридоре, он надрывался, как плачущее дитя. Я бросил вилку и пошел из комнаты.

«Да», — сказал я раздраженно. И вдруг услышал голос Светланы.

В моей ладони, под ухом у меня шевелился этот тихий, прелестный голос, как будто прилетевший с другого края вселенной, а я стоял и слушал с внезапно и безумно забившимся сердцем. Я стоял, и голова моя шла кругом. «Да, да, — пролепетал я, — я слышу тебя, это я... Ты разве в городе?» Она ответила, что не может долго разговаривать: она звонит из автомата. Да, она не уехала, планы расстроились. Ей скучно.

Ей скучно! Ей нужен я! Повесив трубку, я понял, что моя жизнь повернулась на сто восемьдесят градусов. Я воротился в мою пустую комнату и, не зная, за что взяться, прошагав битый час из угла в угол и кругом стола, уверился наконец в том, что меня любят. Что еще мог означать этот неожиданный звонок, эта смелость, с которой она, поборов стыд, сама сделала первый шаг, этот волнующийся — сам слышал — голос! В тарелке лежали остывшие макароны, раскрытая книга осталась стоять перед хлебницей. Настроение переменялось, и ничто из того, о чем я думал час тому назад, больше меня не занимало. Полицейский комиссар умер, кого теперь интересовал вкрадчивый шорох его речей? В первом часу ночи под брызжущим светом оголенной лампы я уселся брить, потому что одним из предрассудков моего мужского кокетства

* Русскому читателю эта книга известна под названием «Каждый умирает в одиночку».

было убеждение, что для того, чтобы нравиться, нужно быть чуточку небритым.

Утром, заложив руки под голову, я предавался сладким и волнительным грезам. Мысленно я произносил длинную речь, в которой признавался ей, молча и страстно слушающей, в своих чувствах. За этим объяснением последовала яичница, я проглотил ее в поанной прострации.

Постепенно небо за окном превратилось из синего в белое, город дохнул в окно жарким бензином. Все стекла в доме напротив метали молнии. Свидание было назначено на двенадцать часов. Счастливый любовник скитался по комнате и коридору, мочил голову под краном, расчесывал и лохматил волосы — убивал время. Вдруг паника овладела мною, я подумал о пробке на перекрестке, о похоронной процессии, об аварии в метро. Пулей вылетел из комнаты, запрыгал по лестнице и понесся, опережая прохожих, вдоль тротуара.

Сначала я бродил по улицам, а потом долго стоял под липой напротив выхода из метро «Охотный ряд». Я выпускал дым, почти не затягиваясь и стараясь лишь протянуть подольше это занятие: она должна была увидеть меня равнодушно курящим и в задумчивой отрешенности глядящим вдаль.

Три папиросы одна за другой истлели до мундштука. Преодолевая отвращение, я закурил четвертую, и в эту минуту появилась Светлана.

Она выбежала мне навстречу из толпы, сновавшей у дверей, с легкой тенью на лице, с блестящими глазами глубокого темно-медового цвета и неуловимым трепетом в уголках маленького рта. В руках у нее была элегантная сумочка, и я заметил, что она подкрасила губы. Это делало ее похожей на взрослую женщину. Но, Боже великий, как молодые мы были в тот далекий июльский день!

«Привет, — сказала она. — Я, кажется, опоздала. Ты давно здесь?»

Я пробормотал:

«Привет».

И мы двинулись по длинной дуге мимо Большого и Малого аттров, она — открывая и закрывая сумочку, я — занятый своей папиросой. Так мы дошли до угла, откуда открывался вид на площадь, которую тогда еще не украшала высокая фигура в гранитной шинели до пят. «Я думал, ты уехала в Крым», — сказал я. Было известно, что отец Светланы крупный чиновник.

Она ответила, что отец заболел.

Я спросил: «Что с ним?»

«Так, — сказала она, — сердце. А ты что делаешь?»

«Да так, ничего».

Мы еще поговорили в этом духе, но это был разговор, подобный огоньку газовой горелки, едва заметному в ярком свете дня. Вдруг почувствовалась жара раскаленного города; в толпе нас поминутно толкали. Какой-то хлыщ, обогнав нас, обернулся и бесцеремонно оглядел с головы до ног мою подругу. Мы перешли улицу и усадились на скамейке

в сквере возле памятника Первопечатнику, и тут я окончательно увял, погрузившись в позорное безмолвие — чахлый огонек потух, но газ, газ шел из горелки! Нужно было не медля поднести к ней зажженную спичку.

И я почувствовал, что роковой момент наступил: от меня ждут те слова, которые я должен произнести во что бы то ни стало, или я буду презрен до конца дней моих; все, что говорилось до этой минуты, все эти ненужные вопросы и ответы — все это было лишь предисловием, формальностью. Вот она, решающая минута, другой такой не повторится. При этой мысли мое сердце забилося, как сумасшедшее: я почувствовал, как в груди у меня с чудовишной быстротой и ловкостью подсакивает и бьет в голову резиновый шар, наполненный ртутью.

Краешком глаза я видел платье Светланы — гладкую, натянутую ткань, слегка волнующую ее дыханием; здесь, рядом, почти угадывалась под тонкой одеждой ее грудь — я отвел взгляд. Мне захотелось убежать, мучительно подмывало спохватиться, вскочить — вокзал, поезд, большая тетка! Убежать и где-нибудь в одиночестве, на свободе предаться вновь мечтам о моей невысказанной любви. С чувством человека, впервые в жизни собирающегося прыгать с парашютом, красный как рак, я уже отворил уста, чтобы пролепетать: «Знаешь, Света... я уже давно... хотел тебе сказать...» Тут я почувствовал, что не в силах сделать это, и дрожащими руками, суровым мужским жестом извлек из кармана папиросы и начал закуривать. Горелка была выключена, а я, худо ли, хорошо ли, получил отсрочку.

Мы наблюдали за старухой уборщицей, которая медленно двигалась мимо нас, шаркая по песку обломком метлы. Ее подол мотался возле противоположной скамейки, на которой сидел очень старый еврей и безостановочно жевал провалившимся ртом.

Ганс Фаллада пришел мне на помощь. Я спросил, читала ли она эту книжку. Не читала?

Я дезертировал. Мне даже показалось, что на лице Светланы мелькнуло разочарование. И я заключил сам с собой такое соглашение: вот расскажу, а потом...

В самом начале войны в Берлине жил один краснодеревщик. Человек тихий, незаметный и ни во что не вмешивавшийся. Однажды он получил известие, что его сын солдат убит во Франции. И вот этот человек, никогда не интересовавшийся политикой, затеял странное и опасное предприятие: он купил нитяные перчатки и, надев их, с большим старанием печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки.

Каждое воскресенье он развозил свои открытки по городу, оставляя их в подъездах домов или бросал в почтовые ящики. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.

А в это время чиновник, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города, отмечая места, где были

подобраны открытки. За два года их набралось несколько сотен, и все они, сложенные стопкой, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать: люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку. И постепенно весь город покрылся флажками, и кольцо их сжималось вокруг улицы, на которой не было найдено ни одной открытки. На этой улице жил Невидимка...

«Ах! — воскликнула вдруг Светлана. — Кажется, я забыла ключи!»

Я осекся. Она нервно рылась в сумочке.

«Слава Богу! Здесь...»

Обескураженный, я молчал. Ждал, что она хотя бы окликнет меня. спросит, что было дальше. Она не спросила. Какие-то иные заботы занимали ее. Не было ни малейшей попытки вдуматься в то, о чем я рассказывал; книга и жизнь — для нее это были вещи, разделенные тысячами верст.

Снова воцарилось безмолвие. Светлана встала. «Ну что ж...» — произнесла она нерешительно.

У меня упало сердце. Она уходит — всему конец. Слюнтяй, тряпка!

«П-подожди, — вырвалось у меня. — Ты спешишь?»

«Нет, но...»

«Постой. Слушай-ка... Может, пойдем ко мне?» — сказал я с внезапным вдохновением.

Она слегка подняла брови. Я бросился уговаривать ее — жалким, молящим, почти плачущим голосом. Упомянул робко, что дома никого нет.

И вот мы стали сходить со ступеней — монах-первопечатник смотрел нам вслед с пьедестала, старый еврей исчез. В этом шествии мне почудилось что-то заговорщическое; опустив ресницы, она шла рядом со мной, воздушное платье трепетало вокруг ее ног. С неба струилось на нас расплавленное олово, стоял июль 1948 года — безумное, смертоносное лето.

Мне предстоит описать странное приключение, которое может показаться неправдоподобным. Имею в виду не то, что произошло с нами, но самого себя, постыдные чувства, которые испытал я при первой встрече с безглазым роком. Я оставляю свой рассказ без комментариев, предоставляя каждому судить о нем с высоты — или из низин — собственного житейского опыта.

Словно на крыльях, полетел я на кухню вскипятить чай и вымыть замызганные тарелки. В квартире не было ни души. В кухне на столе лежала записка: «Леня, звонила тетя Дуся, велела передать маме...» Я швырнул ее в ведро.

Но когда я вернулся, оказалось, что она по-прежнему стоит у окна, устремив неподвижный взгляд в белое небо. Сердится на себя. Жалеет, что пришла! Я окликнул ее; она медленно, с видимым трудом повернула ко мне голову.

И тут я, можно сказать, вынырнул из тумана грез. Упал с облаков.

«Что с тобой, — пролепетал я, — Света?»

Ее лицо было залито слезами.

«Что случилось?»

Она молчала. Сбитый с толку, я топтался на пороге и чувствовал себя виноватым — но в чем?

«А?»

«Ничего».

Тряхнув головой, она подошла к столу, вытерла глаза, высморкалась, щелкнула сумочкой. Села. Я терялся в догадках, Машинально я смотрел, как онаправила платье на коленках.

«Леня,— сказала она.— Мне нужно тебе кое-что сказать».

Теперь было слышно, как в конце переулка гудел автомобиль. Где-то ворковал радиоприемник. Внезапная мысль пронзила меня. Она беременна. У нее связь с киноартистом; родители ни о чем не подозревают. Вот зачем я ей понадобился. Она решила открыться мне!

Вместо этого она сказала:

«Леня, у нас несчастье. Дело в том, что мой отец арестован».

Стало тихо, так тихо, что звон крови в сонных артериях был подобен грохоту водопада. И вот без звука и скрипа открылась дверь, за дверью стояла белая змея. Голова ее была точно изваяна из алебастра, а глаз у нее не было.

Мы молча смотрели друг на друга.

«Почему ты стоишь? Садись».

Я пробормотал:

«У меня чайник на кухне».

«Не надо чайник. Сядь».

Мало-помалу звуки мира стали возвращаться ко мне. Автомобиль по-прежнему сигналил. Шофер сошел с ума!

«Вот так история,— сказал я.— И когда?»

«Две недели назад».

«А... за что?»

Она пожала плечами.

«Откуда я знаю. Неизвестно!»

«Но ведь...— я замаялся.— Должна же быть какая-то причина».

«Какая причина?»— сказала она зло.— Он не вор и не грабитель».

«Да, да, конечно».

Я кивал головой, стараясь собраться с мыслями. Разумеется, это было известно нам с детства. Слова привычные, как «Широка страна моя родная», тотчас всплыли в памяти. Но, Боже мой, как все это было далеко от нас! А теперь — здесь, рядом?

Я обернулся: дверь была закрыта. Но змея была тут, она стояла за дверью.

«Понимаешь,— проговорила задумчиво Светлана,— у меня было такое чувство, будто я проснулась случайно. Будто меня оторвали от важного дела, а то, что тут происходит, все ерунда, пустяки».

«А они?»— спросил я.

«Они-то не спали. У них свет горел. Потом слышу — отец говорит: «Это за мной». А у меня в голове все та же дурацкая идея: когда они наконец потушат лампы? Вдруг звонок, и сразу же начали колотить в дверь. Видимо, это уже второй раз звонили, в первый раз я не слыжала. Папа выходит в коридор, он был уже одет, и спрашивает: «Кто там?» А они отвечают: «Проверка паспортов». Понимаешь, у меня из головы не идут его слова: «Это за мной». Выходит, он ждал?»

«Ну, а дальше?»

«Дальше — вошли двое. Кот и лиса...»

«Кто?» — спросил я.

«Кот и лиса, — повторила Светлана. — Ты что, забыл? В масках. с громадными пистолетами, расширяющимися на концах. В болотной тине, х-ха-ха?»

Ни с того, ни с сего ее начал душить смех.

Она ослабела. Мы сидели рядом, я что-то говорил ей, обнимал ее за узенькие плечи, и долго-долго в пустой комнате, пронизанной пыльным лучом солнца, звучали наши тихие голоса. Она рассказывала мне о себе, о маме, о давнем детстве, о любимых игрушках, о днях рождения, и все это казалось мне бесконечно важным, дорогим и прекрасным. Никогда еще я не любил ее так нежно и благоговейно. Стыд, скованность, неуклюжесть — все развеялось, стена, стоявшая между нами, рухнула; наши души были открыты друг другу. В этом одиночестве вдвоем, среди враждебного и жестокого мира, мы чувствовали себя бесконечно близкими, мы были не товарищами, нет, и не влюбленными, мы были осиротелыми детьми, сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой, в темном лесу, на берегу ручья.

В кухне громко сердился чайник.

«Иди, выключи, — сказала она. — Он весь выкипит».

«Не пойду. Пускай».

«Иди. Потом возвращайся ко мне».

Я вернулся и сел возле нее, но что-то мешало мне снова привлечь ее к себе. Она положила мне голову на плечо, и некоторое время мы сидели молча.

«Знаешь, — сказала Светлана медленно, глядя в пол, — я, наверное, уеду. Нас куда-нибудь сошлют, это неизбежно».

Я горячо разубеждал ее: при чем тут они? Ведь они ни в чем не виноваты.

Она возразила:

«Так было со всеми».

«А как же университет? — спросил я растерянно. — А... я?»

«Ты? — Она пожала плечами, сделав вид, что не поняла моего вопроса. — А при чем тут ты? Ты как жил, так и будешь жить»

Но именно потому, что она так истолковала мой вопрос, предательское чувство вновь как будто на миг лизнуло меня холодным языком: некий голос произнес внутри меня отдельно и четко: «Знакомство с семьей врага народа».

Но я тотчас прогнал эту мысль.

Склонив голову, так что золотистые волосы закрыли ей щеки, Светлана рисовала круги и восьмерки кончиком туфли на полу. «Пора в путь-дорогу...» — напевала она. Я посмотрел сбоку на нее.

Нет, не эти картины — закрытые наглухо вагоны, дождливая ночь и солдаты у колес — поразили мое воображение; я представил себе бесконечную, дикую и неприютную страну, покрытую снегом степь, густые леса, тоскливые деревни. Ничто — как ни стыдно в этом признаться, — ничто не пугало и не отвращало нас в такой степени, как наша собственная страна. Огромная, и страшная, и беспомощная вместе — гигантское ископаемое, бронтозавр, с трудом приподнявшийся на передних лапах. Да она и не была нам родиной — во всей России для нас существовала только Москва. Она одна казалась нам родиной и единственным местом, пригодным для жилья. Покинуть ее? Отправиться на Север, на Урал, в Сибирь? Да пускай нас сошлют на Святую Елену — мы не будем чувствовать себя такими обездоленными.

Снова наступило молчание.

«Интересно получается, — сказала Светлана. — Раньше, бывало, телефон трещит без умолку, а сейчас! В субботу у мамы был день рождения. Никто не пришел. Кому ни позвоним — нет дома. В нашем доме чума. И когда они успели узнать, что у нас чума?»

И, подняв ко мне глаза, полные слез, точные озера, вышедшие из берегов, она улыбнулась. Тогда я взял ее за щеки и медленно, ощущая соленый вкус на губах, поцеловал сначала одно озеро, потом другое.

Она не сопротивлялась. Я целовал ее в глаза, в лоб, в щеки, не находя выхода своему чувству, как слепой, который ищет дверь и не находит и тщетно стучит клювкою по стенам; и лишь когда, запрокинув голову, с закрытыми глазами, почти произвольным движением она отдала мне свои губы, я догадался, что только эта нежность способна противостоять бесконечному горю жизни. Мы не смогли больше сидеть на стульях, в углу комнаты был диван, но я не представлял себе, как перейти туда, не возвратившись, хотя бы на минуту, в обыденный мир вещей и слов и не оскорбив ее целомудренное забытье. Тончайшим женским инстинктом она поняла мое колебание и... должно быть, решила на маленькую хитрость... — а я, я тоже понял ее, но понял и то, что не должен показывать этого... Между нами возник заговор — против нас самих.

Она отстранилась от меня. «Нет. Не надо». Но я по-прежнему, как слепой, тянулся к ней. Мои пальцы обхватили ее затылок, путаясь в завитках рыжеватых волос, скользили вдоль шеи. ...«Нет!» Она вскочила и, не зная куда деться, пересела на диван. Я подбежал к ней и опустил на пол у ее ног.

Теперь я шел к цели настойчиво, неудержимо, как будто только что догадался о ней и с подсудным знанием, что это насилие будет мнимым. Там звали боль, там с трепетом готовились принять ее, как неизбежное, как мученический венец. Ее колени впустили меня, низ живота встретил меня, прохладный, выпуклый, нежно-упругий, и в глубине его

таилось золотистое лоно. В тот миг я не был мужчиной, и не мальчиком, и не студентом, и не Леонидом Х., сыном приличных родителей, а только одинокой плотью, тоскующей о материнском чреве. И я рос: из новорожденного младенца, копошащегося у ее ног, я вырос в неотвратимое. Боли не было: ее руки быстро и заботливо сделали все что нужно, — она ждала боль, искала ее, но боли все не было. Она ждала боль... но я блуждал и ошибался — пока Бог, смотревший на нас из окна, не сжался надо мной, над нами. Я услышал сдавленный стон... В одно мгновение все было кончено. Жизнь покинула меня. В последних содроганиях я опустился на дно глубокого водоема, в мягкие водоросли. И она разделила со мной мою смерть.

Едва заметным движением бедра она дала понять, что ей тяжело. Я перевалился на край дивана, лежал спиной к ней. Через раскрытое окно к нам донеслись звуки города. На полу, возле самого моего лица, метались, наскакивая друг на друга, две мухи. Тихий, до жути отчетливый мир подъехал и стал предо мной во всем своем карикатурном убожестве.

Мне было стыдно. То, что случилось с нами, казалось мне отвратительным: спешка, трясущиеся руки... Как мы теперь взглянем друг другу в глаза?

И за всем этим — другая мысль: теперь мы связаны, скованы цепью. А вдруг на самом деле что-нибудь со Светланой стряется и она рухнет вниз сквозь этажи — значит, и я?.. «У нас в доме чума...» — вспомнилось мне.

Как ни странно, я чувствовал сильный голод. Это отвлекло меня. Я пошевелился.

«Свет...»

Она отозвалась откуда-то издалека:

«Ну?»

«Ты спишь?» — задал я нелепый вопрос.

«Нет».

«Слушай, — сказал я. — Может, что-нибудь перекусишь?»

Мое предложение повисло в воздухе, как протянутая рука. После долгой паузы я спросил:

«Свет, ты на меня сердиться?»

Ее голос ответил: «За что?»

Она коротко вздохнула.

«Уходи».

Я не понял.

«Ну чего ты лежишь, — сказала она. — Мне нужно привести себя в порядок. Иди, — я не смотрю».

Я встал и с камнем на сердце, придерживая одежду, выбрался в коридор. Я вышел на кухню. Там я долго сидел один на один с громадным никелированным чайником.

Из чайника на меня глядел уродец с огромной опухолью вместо носа, которая надвигалась на меня, словно локомотив на одинокого пешехода.

Порывшись на полках, я нашел засохшие соседкины галеты, после чего, с грохотом разгрызая их, предался размышлениям.

Из окна кухни был виден наш двор, где каждый уголок был частью детства. Вот пожарная лестница — я чувствовал на своих ладонях ее железные перекладины; а вон старый, испещренный выбоинами и надписями мелом кирпичный брандмауэр. Свет падал на него косо, летний день переломился. С необычайной ясностью мозг выложил передо мной, как карты на стол, события этого дня. Их было, в сущности, только два, — странно связанные одно с другим, они в то же время противоречили друг другу: ночной стук в дверь — и мы вдвоем на диване...

Итак, свершилось — в другое время я был бы счастлив и горд: я наконец познал сближение с женщиной. Воспоминание уже не отверщало: напротив, оно разгоралось с каждым часом; закрыв глаза, я видел перед собой лунно-белую кожу Светланы, золотистый треугольник волос — эти подробности волновали даже больше, чем то, что последовало за ними. Я не испытал наслаждения — оно потонуло в торопливом угаре; но в следующий раз... Я поймал себя на мысли, что думаю о том, каким он будет, этот следующий раз, — и когда?.. Но кто знает, что происходит сейчас в ее сердце, там, за дверью в конце коридора, после того, как она выслала меня коротким и не терпящим возражения приказом.

Бедняжка. Как ей, должно быть, тошно и одиноко в чужой комнате, на голом, мерзком диване. Я вспомнил о вечернем звонке по телефону, о нашем длинном, бесплодном сидении на солнце у памятника Первопечатнику, о том, как платье стесняло ей грудь, как пальцы теребили сумочку, вспомнил, как она глядела на старуху, подметавшую сквер, слушала мое косноязычие, а сама думала об одном и том же, об одном и том же... И весь день колебалась и искала случая открыть мне свое горе. В сущности все ее поведение было одним непрерывающимся криком о помощи. Воспоминание о золотистых тенях на ее щеках, о ее тонкой, склоненной шее неожиданно потрясло и умилило меня; с болью, с ужасом я понял, что случилось непоправимое: ее отец был там, и, может быть, спящий рефлектор, о котором говорил комиссар, был ему в глаза в ту самую минуту, когда мы здесь на диване —

Мне стало холодно, я встал и быстро пошел в комнату.

Открыв дверь, я увидел ее стоящей у окна; поясok подчеркивал ее талию, прямые полные ноги казались чересчур взрослыми для ее фигурки. Руки Светланы, голые до плеч, показывали сумочку. Она была невысокoго роста, ниже меня на полторы головы.

Выждав полсекунды, не больше, она повернулась на каблучках.

«Где ты был?» — спросила она, не глядя на меня.

В эту минуту я думал о том, что ожидало нас. Она ошибалась, думая, что дело ограничится ссылкой. Нет, если за ней до сих пор не

пришли, то лишь потому, что задерживается оформление бумаг. Может быть, не хватает какой-нибудь подписи; заболел чиновник. А я — моя судьба решалась сейчас, в эти минуты.

«Что ты собираешься делать?»

«Не знаю», — сказал я не ей, а своим мыслям.

А ведь она, должно быть, ожидала, что я стану говорить о своей любви к ней; наверно, она загадала, стоя у окна: если, войдя, я заговорю об этом — значит, она не ошиблась и жертва ее не напрасна... Я же словно оцепенел. Молчание затягивалось и становилось тягостным.

Размахивая сумочкой, она прошла по половице, повернулась на каблучке, тряхнула головой.

Машинально я следил за ней, а видел одно: человека, сторбленного на стуле, тени в фуражках и струю спящего света...

«Ну... я пойду, пожалуй», — проговорила она как бы про себя. И так как я молчал, добавила: — Ты меня проводишь?»

Я поспешно подтвердил: «Да, конечно».

Теперь меня уже не оставляла мысль, что я иду ко дну. Не было никаких сомнений о том, что за нами следят. Как это делается, я не знал; но что луч, не знающий препятствий, пронизывающий стены, заливает нас обоих и будет следовать за нами, куда бы мы ни пошли, — в этом я не сомневался.

Что же удивительного в том, что друзья и родственники поспешили прервать сношения с этой семьей? Ведь это был единственный способ спастись от луча.

Для меня теперь каждая минута, проведенная со Светланой, делала положение все более непоправимым. Ей-то нечего терять, а у меня оставался шанс. До сих пор мы выглядели как случайные знакомые, и еще была надежда, что луч, ощупывая пространство вокруг нее, скользнет мимо, за иной добычей. И что же? Вместо того чтобы... — я не спеша отворял дверь на лестницу, выходил рядом с ней на улицу, я шествовал на глазах у толпы, открыто, вызывающе, не принимая никаких мер конспирации, не пытаясь даже укрыться в тени домов!

Вспыхнуло голубоватое зарево фонарей. Из-за угла, пересекая дорогу пешеходам, выехал черный автомобиль. Во тьме кабины на нас блеснули внимательные глаза. Уличный регулировщик, оборотившись, понимающе кивнул кому-то.

Возле меня постукивали ее каблучки. Немного времени спустя она подняла ко мне лицо; я увидел потеплевший и лукавый взгляд. Светлана тряхнула головой.

«Хочешь — я расскажу маме?»

«О чем? — Я не понял. — О том, что...»

«Ну да. Хочешь, я скажу ей, что вышла замуж?»

О Боже. Это она так именovala наше лежание на диване.

Что касается мамы, то она до сих пор как-то не приходила мне в голову. Да и вообще мама казалась мне совершенно излишней.

Другое обстоятельство пришло мне на ум.

«Слушай,— сказал я.— А ты не боишься?»

«Боюсь рассказать?»

«Нет... — Я замаялся.— Ну, словом... Ты не боишься, что там что-нибудь осталось?»

«Да? — сказала она и испытующе посмотрела на меня... — Да ведь туда ничего не попало!»

Я почувствовал себя оскорбленным. Взглянув на меня, Светлана залилась веселым смехом.

«Может, скажешь, что вообще ничего не было?» — спросил я мрачно.

Смех стих.

«Нет.— Она смотрела на свои туфли.— Я точно знаю, что было».

«Ты почувствовала?»

«Да. Мне было больно. Мне даже сейчас больно».

«И все? — спросил я.— И нисколько не приятно?»

«Нет,— сказала она подумав.— Но я думала, что это еще больней. Я хотела, чтобы было больней. Однажды мне приснилось... что в меня входит огромное и гладкое... Я хотела, чтобы ты разорвал меня. Но... ты... О, господи! — пробормотала она.— Что я говорю!»

Улица кончилась, мы шли по пустынному переулку, где с обеих сторон стояли высокие, сумрачные дома, выстроенные в начале века.

На углу мы остановились. Тотчас мимо нас прошел человек и исчез в подворотне.

«Ну вот,— сказала Светлана,— мы и пришли. Дальше не провожай».

Мы стояли друг против друга; я чувствовал, что нужно что-то сказать, произнести слова; слов не было. Неловко, как дети целуют приезжую тетю, потянулся я поцеловать Светлану. Она отстранилась.

«Не беспокойся,— сказала она с неуловимой иронией,— ты был настоящим мужчиной. Как говорится — вопросов нет. Твоя честь в порядке. И вообще у тебя — все в порядке».

Помолчав, она добавила:

«Никто, конечно, не узнает — ни мама, никто. Да и какое это имеет значение?.. Знаешь, Леня,— она посмотрела на меня сильно заблестевшим взглядом, и я заметил, что губы у нее вздрагивают,— я ни о чем не жалею. С тобой, так с тобой — не все ли равно... Звони!» — крикнула она, убегая.

Так окончилось наше свидание. Я быстро шел по переулку. Несколько мгновений в моем мозгу еще мелькало ее платье, звучал голос и сухим, горячим блеском сияли темно-медовые глаза... Потом растаяли... Я торопился, и мне начинало казаться, что за мной спешат чьи-то шаги. Было безлюдно. Вот здесь, думал я, две недели назад пронесся черный автомобиль. Отсюда он вывернул на площадь и помчался вниз по пустынным улицам. Ему понадобилось десять минут, чтобы пересечь огромный спящий город.

Я представил себе этот город, по которому в разных направлениях мчатся таинственно автомобили. Во дворе, за закрытыми наглухо чугун-

ными воротами. пленников выводили из машин, зажав им ладонью глаза.

В конце переулка перед подъездом сидел на стуле сторбленный старик, как две капли воды похожий на старого еврея в сквере у Первопечатника. Я отметил это совпадение.

Весь вечер я был занят. На полу лежал чемодан. Одна за другой в его разгерметичное чрево падали тетрадки с дневником и стихами, начала поэм, коими намеревался я поразить мир.

Я выглянул в коридор. В квартире ни души — жильцы разъехались, однако лишняя осторожность не мешала. Быстрыми и тихими шагами я совершил бесшумную перебежку и, оглянувшись, скрылся в уборной. Подумать только, какое удачное стечение обстоятельств! Со своим багажом я ввалился в уединенную келью. Теперь вскарабкаться на скользкий край фаянсовой чаши — и вниз головой... Мои корабли вздымались на гребне волны и исчезали в пучине. О, сколько дивных замыслов, неиспользованных сравнений, метафор, эпитетов потонуло в темном водовороте. Я представлял себе, как ключья моих творений плывут в толстых трубах под землей, как из других домов, из других келий к ним спускаются в шуме вод новые — и какой это должен быть грандиозный ледоход трупов, какое кладбище крамолы! Временами я мешкал, погружаясь в чтение, но колокол умолкший пробуждал меня, я дергал длинный его язык, и вновь струя водопада смывала в преисподнюю последние искры моего — о нет, не вольномыслия — своеволия: инстинкт твердил мне, что и оно — улика.

Палкой, палкой проталкивал я своих детищ, спроваживал последние клочки, прилипшие к стенкам. Чемодан был пуст. В жидком блеске двадцатисвечевой лампочки, качавшейся на прозрачной и успокоенной глади, я остался один над чашей, и в руках у меня была фотография Светланы. И тогда я четвертовал свою любовь, сложил и снова четвертовал; и полетели туда ее глаза, ее чудные волосы, лоб и тонкая шея. Все-му конец!

Лежа на диване, я думал об открывшейся мне сути жизни, я думал о ней спокойно, хотя она была ужасна. Поистине мне оставалось лишь благодарить судьбу за то, что до сих пор меня щадили. На меня не обращали внимания, милостиво игнорируя меня, и молчаливо разрешали мне продолжать мое ничтожное существование. То, что я понял, можно было сформулировать примерно так:

Вот мы живем спокойно и беззаботно, погруженные в свои мелкие дела, и не догадываемся, что за всеми нами следят. Тайные осведомители пристально наблюдают за каждым нашим шагом, а мы об этом даже не подозреваем. Как за актером, расхаживающим на сцене, неотступно следует луч юпитера, а он словно бы его не замечает, так и за нами повсюду тянется невидимый луч, он с нами, где бы мы ни очутились; в любом случае достаточно слегка изменить угол прожектора — и мы снова в его круге.

Мы подобны людям, к каждому из которых подвязана нить. А где-то функционируют тайные канцелярии, где-то чиновники подкалывают прилежно материал в папки. Идет непрерывная, планомерная, хорошо налаженная работа по оформлению дел. В любой день досье может быть извлечено из сейфа; там все, там полная биография. Подпись прокурора — санкция на арест.

И вот наступает этот момент, когда нитка натягивается. Бесполезно сопротивляться, бесцельны просьбы и жалобы — нить тащит нас к раскрытому люку, и, подтягиваемые, мы успеваем в последний раз увидеть вечерний город, сияние фонарей и зеленые брызги над дугою трамвая. А там — падение в люк, и крышка хлопывается над головой. Аминь. Но — т-сс! Никто не должен знать об этом. Исчезнувшего — не было. Его никто не знал. О нем никто не вспомнит.

В таком духе я размышлял, лежа в сумерках; и вдруг раздался глухой удар — стучали в парадную дверь. Я вскочил. Стук повторился. Холодный пот выступил у меня на лбу; за окном виднелась пожарная лестница, но до нее было порядочно; к тому же я был уверен, что внизу и на крыше — всюду стоят. Кап... кап... кап... — свинцовыми каплями падали секунды. Я не мог больше переносить этот страх — подкравшись к репродуктору, я всадил в штепсель вилку... тотчас диктор заговорил радостным, бодро-неживым голосом, как если бы произносила слова статуя.

В это время я стоял лицом к стене, зажимая руками уши. Больше не стучали. Превозмогая страх, я пошел на цыпочках — все было тихо. Приоткрыв дверь на лестницу, долго слушал... Шорох! — это ползла вверх по маршу первого этажа змея, вся белая, с глазами из алебастра. Радио ворковало в комнате; я ждал до звона в ушах, пока не онемела шея, не заныли плечи. Сердце медленно билось. Комиссар шептал мне на ухо: «Знаешь, Клуге...»

Больше невысказанно было сидеть дома. Мои страхи могли быть напрасны, даже смешны, но в сути, в сути ведь я не ошибался! Выходя на улицу и позднее, по дороге на вокзал, я ощущал себя во власти секретных учреждений, понимая, что до поры до времени они не дают знать о себе, но непрерывно и планомерно осуществляют свою тотальную деятельность. Наблюдательные точки на крышах домов и искусно замаскированные следящие устройства, вмонтированные в коколы зданий, — все это позволяло вести разведку в любом секторе города. Воздействие аппаратов ощущалось и в квартире, и я был убежден, что миниатюрный прибор, записывающий разговоры, помещался в телефонной коробке, наблюдение проводилось также при помощи электричества и водопровода. И нужна была максимальная осторожность во всем, осмотрительность на каждом шагу: главное — не показывать виду, страх — доказательство виновности! Прикидываться дурачком, скрывать свой страх, скрывать знание, хранить спокойствие!

Ведь в конечном счете я был виноват уже в том, что жил. Мы все были виноваты, виноваты самим фактом своего существования. Мне не-

куда было деться, секретная служба располагала исчерпывающей информацией, она знала обо мне все. Просто за многочисленностью дел и исследований они не имели времени заняться мной — руки не доходили — и до времени ограничивались наблюдением.

Было уже совсем поздно, когда я добрался до вокзала, но поезда еще отправлялись. Сезон был в разгаре: даже в такой час люди с продуктовыми сумками толпились у касс и спешили по перрону. Я сел в поезд и поехал на дачу.

1970 г

ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА МОИ СУРОВЫЕ

Водокачка стояла на отшибе, у спуска в овраг, наполовину засыпанный снегом; на дне оврага между сваями расплылась зеленая полынья. Наверху визжал ворот, и старик банщик, разъезжаясь валенками на обледенелом помосте, вытаскивал оплывшую бадью. Вода, сверкая, как серебро, бежала по бородатому от сосулек желобу, встроенному прямо в окошко бани: там она вливалась в огромную бочку, которая одна занимала половину парильни.

Все сооружение выглядело очень старым. Помост пел и раскачивался под ногами у банщика, когда он вытягивал из воды плескавшуюся щербатую бадью. Сруб осел и был источен червяком; внутри бани стены и потолок покрылись копотью, в углах голубела плесень, а пол, никогда не просыхавший, был в трещинах и ходил под ногами. И баня, и водокачка над оврагом, и видневшиеся вдаль, покрытые шапками снега терема начальств были возведены еще первыми строителями, теми, кто давно уже истлел под корягами старых пней. В те времена на месте оврага, по дну которого теперь влачил безродный ручей, текла глубокая и быстрая речка, носившая древнее раскольничье название, а там, где был поселок, рос густой лес.

Визг ворота над ручьем и дым, поднимавшийся из трубы над древним памятником цивилизации, не могли означать ничего другого, как то, что сегодня — банный день. И шествие начальств, направляющихся в парильню, открывала августейшая царствующая чета. Впереди четким военным шагом, в шинели, достававшей ему почти до пят, шел начальник лагпункта. Банщик нес за ним таз и веник. А следом, в пуховом платке и больших валенках, семенило, стараясь не отставать, существо, состоявшее при великом князе, то ли работница, то ли жена — девушка, даже почти девочка, которую капитан взял к себе в дом из ближней деревни.

В бане, подвернув лагерные кальсоны, старик (фамилия его была Набиркин), тяжело дыша, хлестал веником толстое и до глаз налитое кровью тело начальника. На лице старика было всегдашнее выражение истовости, сознания долга и какого-то унылого мужества; он любил свою работу, дорожил местом и старался изо всех сил, так что пот стру-

ился по его кривой и тощей спине, на которой безостановочно двигались оттопыренные лопатки. В клубах пара грохотал радостный мат капитана. А жена капитана, худенькая и малокровная, с провалами темных монашеских глаз, доставшихся ей от предков раскольников, сидела в предбаннике, держа наготове домашний графинчик.

Великий князь выходил — вылезал, — он был весь красный и распухший, в свекольном нимбе, с росинками жемчуга вокруг чела и, прикрытый снизу полотенцем, принимал из рук ее стопку, полную до краев. Он ценил это умение подать стопку, полную, как глаз, не пролив, однако, ни капли. После чего имел обыкновение, выдохнув воздух, сопя, налить маленько и банзику. Набиркин торопливо натягивал ватные порты. Время было оставлять капитана вдвоем с княгиней, замиравшей от страха под отчески-хищным, хитро-безумным взглядом склеротических глаз самодержца. Старик Набиркин, похожий на старую ученую собаку, тряся головой, трусил по тропке в поселок.

Навстречу ему уже брел худой и грустный начальник спецчасти. Шайку с венником и смену белья несла за начальником бухгалтерша, его жена, и было слышно, как она покрикивает на мужа, то и дело оступавшегося в снег. Спецчасть редко когда бывал трезвым, и на работе все дела за него вел заключенный, числившийся дневальным: пересчитывал и перекладывал формуляры, составлял сводки, списки и секретные отчеты, так что начальник ничего не делал, только ставил дрожащей рукой подпись под бумагами, в которых давно уже не разбирался. Покончив с ними, банщик отправлялся к дому командира взвода.

Так он обходил по очереди всех начальников, следуя раз навсегда установленному порядку, строго соблюдая последовательность лагерных должностей и чинов. При этом и щедрость его услуг в точности равнялась чину служаемого, так что за мелкими начальствами он и не заходил вовсе, передавая приглашение через посторонних; старик Набиркин гордился этим умением с одного взгляда, брошенного вверх из пропасти своего ничтожества, мгновенно и безошибочно определить меру величия каждого начальника, умением, без которого не обойтись в мире, где любой, с кем имеешь дело, — начальник. Но в том-то и дело, что начальник начальнику рознь.

Но одного начальника, чрезвычайно важного, не было в этом списке: того, кто в молчании и тайне сидел в своем кабинете, в зоне, там, где в конце длинного коридора конторы, за двойной дверью, обитой дерматином, он представлял в своем лице ведомство, стоявшее в стороне от всех и над всеми. Страх и ужас, внушаемый оперативным уполномоченным, был таков, что суровый банщик, пожалуй, чувствовал облегчение от того, что уполномоченный не ходил в баню. Вместе с тем он чувствовал себя обойденным, словно ему не доверяли шлепать венником, растирать, почтительно намыливать и окатывать чистой водой это вельможное тело, тщательно оберегаемое под мундиром с блестящими пуговицами и золотыми плавниками погон. Под Новый год, уже в быт-

ность Набиркина на своей должности, конвойная бригада поставила уполномоченному личную баню на дворе, перед его теремом.

Постройка бани была следствием сложной дипломатической обстановки. Технорук, ненавидевший уполномоченного двойной ненавистью обыкновенного человека и бывшего заключенного, намеревался задобрить его этой баней как в целях дальнейшего спокойного существования вообще, так и принимая во внимание жульнические приемы, без которых было невозможно перевыполнить производственный план. План всегда перевыполнялся, но перевыполнить его значило навлечь на себя еще худшие беды. Сейчас же о персональной бане оперуполномоченного стало известно «наверху»: одновременно и не стовариваясь дунули в управление начальник культурно-воспитательной части и жена командира взвода: командирша из-за того, что та же самая бригада должна была пристроить к ее дому флигелек, а КВЧ — просто так, из патриотизма. Об этой истории можно упомянуть лишь мимоходом, тем более что на опере она никак не сказалась: он лишь усмехнулся таинственной усмешкой и снял трубку, чтобы протелефонировать куда надо. И дело, завонявшее было в воздухе, само собой заглохло. Начальник же КВЧ спустя немного времени загремел куда-то на дальний лагпункт.

Под вечер в баню к Набиркину тянулась уже вовсе не организованная толпа — начальник конюшни, вольнонаемный экспедитор, зонные надзиратели, проводники собак. Эти мылились все вместе, а после них их женщины.

Старик сидел за стеной в темном закутке, перед загашенной топкой, и от нечего делать смотрел в дырочку на моющих женщин. Зрелище это не вызывало в нем никаких чувств: инстинкт, давно угасший, влачил существование в форме брезгливого любопытства. По своему качеству женщины не всегда соответствовали чину своих владельцев; это усиливало презрение старика к мелкой сошке — надзирателям и прочим, словно они заграбастали нечто, не соответствующее их положению. Поглядев немного, он отворачивался и равнодушно сплевывал в золу.

Темнело, опять визжал ворот, гремела цепь: он доливал бочку холодной водой. Остывшие камни медленно шипели, выжимая последки пара. Немногие поздние посетительницы обматывали платками румяных и сонных детей. Все с тем же выражением долга и унылого мужества старик банщик подметал пол, кашляя, сгребал с лавок мокрые клочья последних известий и приветственных писем Вождю. Обмылки собирал отдельно, хозяйственно отскребывал всякий прилипший кусочек: за месяц у него набирался целый ком, его можно было перетопить и нарезать брусочками. Эти брусочки он продавал в зоне.

Уже сиял во тьме над лагерем, по ту сторону мигающих огоньков поселка, огненный венец. Белый луч прожектора висел над частоколом. С четырех сторон на зону были наведены пулеметы. Лагпункт казался мертвым: ни единого звука не доносилось оттуда. Бесконвойный банщик возвращался домой, и кашель его постепенно затихал вдаль.

На вахте загремел наружный засов; Набиркин вошел в проходную. Дежурный надзиратель, вооруженный одним пистолетом, небрежно обхлопал его под мышками и по швам, пощупал для вида коленки, помял в руках полы бушлата. Старик стоял перед ним, выпятив грудь и растопырив руки, в торжественно-глупой позе, даже рот у него был приоткрыт. Обыск, повторявшийся изо дня в день каждое утро и вечер, превратился давно в пустую формальность.

У вахтера от лежания на лавке в холодной дежурке ныли кости и ломило затылок. Он мучительно зевал, изрыгая пар, при каждом зевке глаза его заливались слезами. Он пошел отворять внутренний засов.

Бесконвойный банщик вошел в зону. Но вместо того, чтобы направиться к себе в секцию, он свернул в другую сторону, и скоро его бушлат исчез в белесовой тьме, сквозь которую смутными видениями проступали бревенчатые бараки. Банщик очутился на краю зоны, где ровень с колючей проволокой, ограждавшей запретную полосу, шел трап мимо барачков до санчасти.

Старик шагал по трапу, по-крестьянски прямо перед собой ставя разбитые валенки. Снег запорошил его сутулую спину и круглую ушанку. Наверху, под черными тарелками фонарей, снег густо сыпался в конусах света, как будто рождался вместе с ним; косая тень то обгоняла старика, то бежала за ним; он шел, минув одно крыльцо за другим, пока не дошел до последнего барака. Тут он остановился, осмотрелся, нет ли кого, и взвошел на крыльцо.

Отхожее место находилось в конце темных сеней, чтобы добраться до него, нужно было пройти бесшумно мимо дверей, за которыми с обеих сторон сидело по дневному. Набиркин крался вперед, пока не уперся в дверь клозета. Она пронзительно закричала. В лицо ему дунуло сквозняком. Постепенно выступил из потемок обледенелый желоб, помост с дырами; налево тускло блестели соски деревянной рукомоини. Голубоватый свет сочился из амбразуры, заваленной снегом. Притворив дверь, старик отколупывал заочневшими пальцами пуговицы бушлата.

Теперь можно было распустить бечевку, на которой держались стеганные порты, мешком висевшие на плоских ягодицах старика. Кряхтя от натуги, он залез рукой глубоко между ног. Таким образом было извлечено то, что он спрятал там. Старательно, как все, что он делал, он уложил свою драгоценность на дно кармана-тайника, пришитого к подкладке бушлата, где у него хранились куски хлеба, ложка, запасная бечевка и другие необходимые вещи.

Дело было сделано, он вздохнул с облегчением. Затем брюки были водворены на место, бушлат плотно застегнут, и так же осторожно он выбрался на крыльцо. Как-то вдруг старик Набиркин почувствовал, что

продрог, и кашель, словно разбуженный осьминог, ожил и зашевелился на дне его легких. Он стоял на крыльце, мрачно озираясь, с прижатым ко рту кулаком, сотрясаясь от беззвучного кашля, и ждал, не покажется ли кто. Все было тихо. Фиолетовый снег покойно струился на землю. Затем послышалось нежное бречанье кольца, волочащегося по проволоке. Позванивая, оно проехало мимо и затихло. Это по ту сторону цстокола, в тоске и скуке, взад-вперед трусили от вышки к вышке продрогшие овчарки. Успокоенный, банщик стал спускаться с крыльца; в груди у него все еще что-то пело и свистело. Он зашагал к последнему крыльцу.

3

В эту ночь Василий Вересов, проживавший в последней секции окраинного барака, творил суд над ларешником, чья дерзость граничила с бунтом.

Ларешник был человек новый и в своей должности, и на лагпункте. Учили это, подождали, пока привыкнет. Отнеслись как к человеку. Пришли к нему — культурно, вежливо, хотя полагалось, чтобы он сам пришел и принес положенное. Не было на лагпункте человека, который не знал бы порядка: и каптер, и кладовщик, и заведующий пекарней — все платили дань.

В ларек пришел дневальный, так называемый Батя, хитрый мужик, служивший у Вересова чем-то вроде завхоза. Ларешник послал его подальше. Приходил вор Маруся — мрачный и тупорылый верзила. «Ты: закурить есть? Пожрать есть?» Ларешник выжал Марусю за порог, на дверь навесил железную перекладину и огромный, как снаряд, замок. Опять разговора не получилось.

Подошли и стали крутиться возле крыльца два жу ч к а — сквозь дыры в запахнутых бушлатах у них проглядывало голое тело. «Дяденька, дай сахару. Миленький, дяинька, в рот-ты стеганный. Дай консерву». Зубы у них стучали от холода, оба приплясывали. Ларешник — ноль внимания.

Поздно вечером его подкараулили, взяли с двух сторон за руки, созда третий обнадежил пинком в зад. Ларешник был высокий костлявый человек. Он попытался стряхнуть висевших на нем. Спустя некоторое время его втащили в секцию.

Там никто не спал. Когда в сенях отворилась дверь, оттуда раздался звериный вой: пятьдесят блатных, обливаясь слезами, пели каторжные куплеты — зауспокойный гимн. Наверху, на верхних нарах, трясло лохмотьями, чесалось, грызлось и копошилось то, что на языке наших мест называлось коротким словом ш о б л а. Внизу сидели иерархические чины: Маруся, Хивря, слюнявый и гнилоглазый Ленчик по прозвищу Сучий Потрох и другие именитые люди.

Это был легендарный К у р с к и й в о к з а л, и так же, как не существовало лагпункта без начальников частей, надзирателей, стрелков, без

духовного пастыря — начальника КВЧ, оперативного уполномоченного и начальника-самодержца, без единого, учрежденного раз навсегда порядка властей, чинов и подчиненностей, — точно так же невозможно было во всем Чурлаге найти подразделение, где бы не было рядом с официальной иерархией начальства иерархии воров, изнутри управлявшей лагпунктом.

У стены, прямо напротив входа, между нарами, стояла генеральская койка, застеленная тремя одеялами; вся стена над ней была оклеена картинками из журналов, серебряными и пестрыми бумажками и лоскутками цветной материи, а над изголовьем были распялены на гвоздочках большие и пыльные крылья птица. На одеялах сидел Вересов, подвернув под себя ноги с жирными ляжками. На груди у Вересова висел оловянный крест, а в руках он держал гитару.

К нему подвели ларешника. Пение стихло.

«Тебе чего, землячок?» — ласково сказал Вересов, точно он ни о чем не знал. И, склонив набок голову, стал перебирать струны. Тут кто-то, подкравшись сзади, съездил ларешника по х о б о т у; ларешник обернулся и увидел вихляющую спину, спокойно удалявшуюся к дверям. Человек подтягивал на ходу заплатанные порты. У порога он вдруг остановился, плеснул в ладоши и — «тата-тата-тата-та!» — пошел задом, трясясь и воздев руки, дробя четчатку. На лице танцора застыло выражение экзотической мертвенной радости. Так он дошел, трясясь и обшлепывая себя, до койки генерала. Тот пнул его в тощий зад: «В рот стеганный!» Человек комически охнул, скосоротился и ползком убрался под нары.

«Ша! — квакнул Вересов. — Чтоб мне было тихо. — И ларешнику кротко: — Землячок, приближся».

Все замолчало. Генерал играл на гитаре. Он играл и пел сиплым утробным голосом: «Прощай, Маруся дорогая!» Чины изобразили на лицах сумрачную думу. Шобла благоговейно слушала.

Генерал рванул струны. Песня оборвалась.

«Та-ак, — сказал он раздумчиво и впервые удостоил пленника пристальным взглядом с головы до ног. — Так, — цыкнул в сторону длинной слюной. — Это как же, земляк, получается? Нехорошо, в рот меня стегать. Некультурно!»

Ларешник ничего не ответил. Генерал поерзал задом, устраиваясь поудобней.

«Ишь, сука, ряшку наел, — заметил он. — Подлюка, пес смрадный... Забыл, с-сука, — голос генерала окреп, — кто тебя кормит? Тебя, хад, народ кормит, трудящие массы. На ихнем хоботе сидишь! А ты сахару пожалел. Выходит, им с голоду помирать, да?»

«А кто платить будет?» — ларешник спросил, проглотив слюну.

«Молчи, хад, когда начальство разговаривает! Всякая пададь тут будет насть раскрывать... — Вересов цыкнул слюной, ввинтил в пленника зоркие глаза. Помолчав, заговорил наставительно: — Слушай, земляк... Ты жить хочешь? Ты папу-маму любишь?»

Ответа не было. Склонив большую голову, Василий Вересов погрузился в думу над струнами.

Вдруг словно ток ударил генерала.

«Вот твоя мама! — заорал он и ткнул себя кулаком в жирную грудь. — И вот твой папа, — добавил он. — Слушай сюда... Ты кто: человек или яврей? Ты смотри мне в лицо, мне в лицо! Ты, может, в жиды записался? Тогда снимай шкары. Мы тебе сделаем обрезание. Верно я говорю, вошееды?»

«Жидяра! — отвечали согласно с нар. — Пушай шкаренки сымает...»

«Слушай сюда. Ты Васе правду говори. Вася лжи не любит... Ты как со мной жить хочешь: вась-вась? Или кусь-кусь?»

Сказав это, генерал склонил голову, и раздался жидкий дребезг струн. На нарах улеглись друг на друге, вытянули головы. Зрелище все больше походило на спектакль, ритуальное действие, разыгрываемое по определенному плану.

«Прощай, Маруся дорога-ая!» — снова запел Вересов, но тотчас умолк и строго воззрился на ларешника. «Ап-чхи!» — сказал он отдельно. Тотчас услужливая рука поднесла и вложила платочек в ладонь Вересова.

Генерал бросил платок на пол. «Подними».

«Ну?» — Голос генерала повис в воздухе.

Человек, стоявший перед ним, не шевелился.

«Та-ак, — констатировал Вересов. — Значит, кусь-кусь. Так и запишем. — И он утвердился на своем сиденье, подпрыгнув несколько раз, и картинным жестом обхватил гитару, точно фотографировался. Не глядя, коротко: — Снимай шкары!»

Ларешник косился по сторонам. Одно за другим он обводил взглядом лица, устремленные на него.

В это время сверху, рядом с койкой вождя, стали спускаться на пол чьи-то длинные ноги.

Костлявый верзила воздвигся рядом с генералом. Легкий ветер побежал по рядам.

Это был знаменитый Рябчик, официальный супруг генерала, законный вор, первый после Вересова человек на лагпункте.

Вересов сладко улыбнулся.

«Чтой-то ты, земля. туго соображаешь. Аль не дошло? — Глаза его блеснули. — А ну, снимай штаны, кому сказано!»

Барак застыл в гробовой тишине. Ларешник весь подобрался, сгорбился. Втянул голову в плечи. Зубы у ларешника мелко стучали. Он не сказал ни слова.

Тогда все увидели, как прыщавый Васин подбородок повернулся к Рябчику. Вересов вознес к верзиле взгляд скорбного быка. Тот качнул коромыслом могучих плеч. Шагнув к пленнику, Рябчик уставился на него неподвижным взглядом дымных глаз.

Не спеша Рябчик оторвал от земли башмак и носком ушиб лареш-

ника спереди по берцовой кости, ниже колена. Ларешник зажмурился и застонал.

«Терпи, земляк, для здоровья полезно, — голос гермафродита прудребезжал с генеральской койки. — Угости-ка, мама, земляка еще разок».

«Мама» скосоротил физиономию и расставил ноги. Глаза Рябчика наблюдали с каким-то тусклым любопытством жертву. Он отвел назад крюком согнутую руку — ларешник попытался — «гх!» — верзила издал звук, с которым мясники рубят мясо.

Длинная фигура ларешника мгновенно выпрямилась, после чего он начал как-то странно заваливаться назад, хватая ртом воздух, однако не упал. И тут произошло нечто небывалое, невероятное и неслыханное.

Рябчик ждал, ларешник качался, развесив руки и отбрасывая длинную тень, доставшую до койки вождя; сейчас опрокинется. Вместо этого он нырнул вперед — кинулся, как кидаются на нож грудью, но каким-то образом миновал его. С ближних нар услышали утробный звук. Струя вырвалась из недр. И что-то мерзкое и тягучее, пролетев в воздухе, влажно и веско шмякнулось на оловянный крест генерала.

«Га!» — выдохнули на нарах.

В первую минуту вождь смешался. Он обвел недоуменным взглядом кровать, посмотрел на свои ноги и грудь.

Снова взглянул на грудь.

Жемчужные сопли, жирно поблескивая, висели на кресте. Они еще качались.

Ларешник харкнул на генерала!

Ларешник промазал. Надо было взять чуть выше.

Василий Вересов поднял глаза на мерзавца, они были белые, как слизь. Молча выпростал жирные ноги, отставил гитару. Знаком руки, не глядя, осадил Рябчика.

Дневальный Батя, покойно сидевший на приступочке возле двери, цыкнул слюной сквозь дырку в зубах и быстро перекрестился. «С а м, с а м», — как шелест пронеслось по рядам. Вождь слез с кровати и сам пошел на ларешника. Спектакль кончился. — было очевидно, что генерал лишился речи от гнева и небывалого в его жизни изумления.

Но не дойдя двух шагов, вождь остановился. Выкатив драконыи глаза, вобрал в себя воздух, выпятил зад. Дохнул огнем:

«П р о щ а й . М а р у с я д о р о г а я!» — Вересов пел свою любимую песню низким, сыплым, утробным голосом. Вересов пел погребальный гимн.

Это был как раз тот момент, когда банщик, дойдя до последнего крыльца, хрипя и кашляя, поднимался по ступенькам. Через минуту за скрипела тяжелая дверь; он вошел в секцию, задыхаясь, сгорбленный и покрытый снегом.

Никто не обратил на него особого внимания. Старика Набиркина знали в Курском вокзале. Он стал было отряхивать валенки, как вдруг увидел ларешника и, охнув, затрусил на выручку.

Старик бросился к Вересову. Поздно: бык успел пронзить свою жертву рогами. Теперь он топтал ее копытами. Уже не было возможности заставить обидчика омыть поруганную святыню, вылизать ее своим языком: ларешник лежал неподвижно, уткнувшись в пол лицом, с закинутыми над головой руками, и изо рта у него текла кровь. «Вась, а Вась. Да ладно, Вась. Да ... с ним, Вась», — повторял горестно старик, цепляясь за рукав генерала, который все еще, пыхтя, рвался в бой. Мама-Рябчик, в чьих услугах более не нуждались, сидел на нарах, равнодушно покачивая длинными ногами в циклопических башмаках.

Вождь разрешил отвести себя назад, на койку. Некто Ленчик, именуемый Сучий Потрох, отправился в санчасть за лепилом. Лепила пришел, это был пожилой; спокойный человек в очках, в далекой юности он учился года полтора на медицинском факультете. Он присел на корточки перед лежащим, повернул ему голову и стал хлопать по щекам.

Усевшись на койку, генерал вытащил из кармана соленый огурец. Генерал хрюснул его зубами, и звук и запах лопнувшего огурца разнеслись по секции. Дернулись кадочки — вся шобла разом проглотила кислые слюни. Пятьдесят человек, для которых голод был профессией, жрали огурец вместе с Васей глазами и кишками, врубались в мякоть Васинными зубами, провожали быстро уменьшавшийся огурец, сосали и глотали сок. Никому уже не был интересен ларешник, который волочился к выходу, вися на плечах у двух провожатых и уронив безжизненную голову на грудь.

Набиркин побрел за Вересовым, уныло кашляя, таща по полу разбитые свои валенки. От них тянулись мокрые следы.

Дрожащей рукой он старательно расстегнул одну за другой пуговицы бушлата и полез вглубь, во внутренний карман, где хранилось у него то, что так хитроумно и незаметно пронес он через вахту. Старик принес Васе полуженное. В полутьме, под сенью развешанных пыльных крыльев, генерал принял дары — две пачки цейлонского чая и поллитровку водки, купленную у колхозниц, которые кормились в поселке для вольнонаемных.

4

Когда те, кто вернулся из лагеря, рассказывали о том, как они жили там, уцелевшим друзьям, то рассказы эти вызывали у слушателей смешанное чувство любопытства и отчуждения.

Им говорили как о чем-то обыденном о том, что по самой сути своей не могло быть нормальной жизнью обыкновенных людей и напоминало образ жизни вырожденков или далеких экзотических племен, и они относили это за счет особой аберрации зрения, свойственной, как они думали, бывшим узникам; никому из тех, кто слушал эти рассказы, не приходило в голову, что с таким же успехом могли очутиться за прово-

локой и они сами: они отказывались допустить такую возможность, как невозможно верить, идя за гробом, что в один прекрасный день понесут и тебя.

В сущности, они и не верили в собственную смерть; и так же мало верили в пресловутую страну Лимонию, в Чурлаг, Карлаг, Унжлаг, Севжелдорлаг и т. д. со всеми их обитателями. Казалось невероятным, что обыкновенный, ничем не отличающийся от нас с вами человек может ни с того ни с сего исчезнуть, провалиться в люк, чтобы продолжать призрачное существование на каком-то ином свете, как невероятным кажется, что сосед, с которым вчера еще здоровались на лестнице, сегодня ночью скончался.

Тем более никто из них не поверил бы, если бы ему сказали, что фантастическая жуть лагеря — это лишь иное обличье обыденной жизни громадного большинства людей. Насколько проще и легче было поверить в Голгофу, в романтику вышек и прожекторов, словом, поверить в произвол, чем допустить удручающую непроизвольность этого ада, в конечном счете созданного его же собственными обитателями. Поистине не властью стрелка на вышке, а властью тупого и злобного соседа вершилось то, что составляло высшую и конечную цель лагеря, и здесь, как везде и всегда, величие начальства было лишь символом ни от кого не зависящих законов, управляющих и начальниками, и всеми людьми.

Эти слушатели не догадывались, как много общего было между обычной жизнью по эту сторону лагерей и жизнью сумрачной страны в тайге на северо-востоке, с ее иерархическим строем, не сразу заметным (ведь только издали колонна плетущихся на работу узников казалась вполне однородной массой, братством и равенством несчастных), но в тесноте и безвыходности лагерного существования ощутимым ежеминутно и на каждом шагу. Контингент — не коллектив. Молчаливая солидарность перед лицом притеснителей, товарищество и братство, один за всех и все прочее в этом роде в этой стране были так же бессмысленны и невозможны, как и в их стране, в их собственной, обычной и нормальной жизни.

Итак, то, что на первый взгляд казалось безумным изобретением каких-то дьявольских канцелярий, на самом деле было пророчеством и репетцией. Миллионы людей вошли в это — в безмолвном ужасе, как входят в воду, которая кажется обжигающе-леденящей, но проходит время, и холод не ощущается. Становится ясно, что в аду живут так же, как наверху, только чуточку откровенней. Глядя на старого банщика, как он возвращается поздно вечером в зону, втянув голову в плечи, в длинном заплатанном бушлате, сотрясаясь в кашле и выплевывая какую-то клейковину, начинало казаться, что он был таким всегда, всю жизнь, что он так и родился, обросший с ног до головы крысиной шерстью концлагеря.

В 1942 году Набиркин, который был тогда на десять лет моложе, стоял в колонне таких же, как он, голодных и обросших щетиной сол-

дат, ночью, под моросящим дождем; они стояли на набережной гамбургского порта, громадность которого угадывалась в темных силуэтах гигантских кранов, барж и грузовых пароходов. Отсюда, во тьме затемнения, их должны были перегнать в лагерь, находившийся от города всего лишь в нескольких километрах. Говорили, что там много наших, живут в кирпичных бараках и получают зарплату.

В шталаге III, куда он попал, находилось несколько тысяч русских. Все они подыхали медленной смертью вместе с цыганами, какими-то украинскими богомолами и евреями.

Так он оказался в числе тех, кому пришлось испытать это занятие сначала у чужих, а потом у своих. И там, и здесь были свои преимущества и свои ужасные недостатки. После того, первого, заключения он перебивал в лагере советских военнопленных под Нарвиком, пересыльном лагере, стационарном лагере, американском лагере перемещенных лиц и проверочном лагере для возвращающихся на родину, и прошло больше года, прежде чем его снова засадили, но в памяти все это сбилось в кучу, смешались даты и термины; старик называл лагерфюрера начальником лагпункта, а шталаг путал с Чурлагом — получалось так, словно не было никакого перерыва, никакого просвета.

Там их наказывали за то, что они происходили отсюда, здесь — за то, что побывали там. Они были виноваты в том, что воевали, и в том, что были захвачены в плен. Подобно множеству людей, мужчин и женщин своего века, они были виноваты при всех обстоятельствах, самим фактом своего существования, виноваты потому, что должна была находиться работа для карательных учреждений, и потому, что требовалась рабочая сила для лагерей. Работать! Работать! План! Проценты! Такова была воля богов, возглашаемая из репродукторов.

Кто однажды отведал тюремной баланды — будет жрать ее снова.

5

В лагере не имей сто друзей, имей к е р ю. Тогда, в 1942 году, Набиркин стоял в колонне рядом с одним лейтенантом. После долгого путешествия партия прибыла в стационарный лагерь, по-немецки шталаг. Это было одно из подразделений известного впоследствии концлагеря Нейенгамме.

Все стояли и смотрели, как начальник транспорта передавал колонну шарфюреру, одетому в черное, который слушал его с выражением отрешенности и брезгливой скуки. Очевидно, и настоящая жизнь, и человечество — все это было для шарфюрера где-то далеко, а здесь его окружали отбросы. Но ничего не поделаешь: такая работа. Очевидно, он так думал. Шарфюрер поглядел на сапоги первой шеренги, вернее, на то, что осталось от сапог, и что-то мрачно пролаял на ихнем языке. Охранники окружили партию со всех сторон.

Раздалась команда, которую никто не понял; все начали поворачиваться, кто направо, кто налево, поднялась суматоха. В задних рядах

охранники — здоровые лбы, в шлемах. напоминающих перевернутые горшки, били замешкавшихся прикладами. Вместе со всеми Набиркин побегал к деревянному барaku.

На крыльце, подбоченясь, стоял молодой эсэс. Он был без фуражки, воротник с серебряными молниями расстегнут. Ветер шевелил его светлые волосы.

Была произнесена речь.

«Вы, але! — сказал парень, сверкая льдистыми глазами, на самом что ни на есть русском языке. и даже с оканьем. — Слушать сюда. Сейчас я вам кой-чего скажу, а больше с вами никто разговаривать не будет. Вы больше не люди, поняли?»

Все поняли. Еще бы не понять! Дальше следовало несколько четких фраз, похожих на стихи.

Позади парня с непроницаемым видом стоял худой, зеленоглазый немец в фуражке с вздернутой тульей, внимательно слушал.

Оратор сплюнул и продолжал:

«Вы принадлежите Германской империи, в рот ее с поуроками, тут вас научат работать, грызи вашу мать... Что заработал — твое, а даром жрать баланду никто не будет. Это вам не Россия».

«Чего-о? — вскинулся он вдруг, хотя никто их стоявших в толпе не проронил ни слова. — Рыло начищу, кто будет пасть открывать!»

Это он мог. Вот уже это он мог.

Немец у дверей переминулся с ноги на ногу, двинул кадыком и сложил на груди тонкие руки.

Парень шмыгнул носом:

«Слушай сюда...»

«Сейчас будут записывать анкетные данные. Каждый подходит к господину офицеру вот там, в канцляй, и гр-ромким голосом, отчетливо! — где родился, где крестился. Политруков нет? Жидов нет? Говори сразу, а то хуже будет».

С этими словами парень — льняные волосы, ни дать ни взять из-под Вологды — расставил ноги в начищенных сапогах и с громом высморкал наземь длинные сопли. Должно, простыл без шапки. Стоявшие в колонне смотрели, как он достал платочек со dna разлзтых галифе обтереть липкие пальцы.

Им объяснили: или они будут честно вкалывать на благо империи. или пускай пеняют на себя, но только просто так подохнуть им не дадут, пусть-де не надеются. И через слово — матом. Они стояли, грязные и обросшие седой щетиной, в рваных шинелях и в пилотках, с которых были сорваны звездочки, и молча слушали.

Потом по очереди стали входить в барак, который был оцеплен. Двое в железных горшках стояли при входе. Внутри оказался длинный коридор, по обе стороны — двери с табличками. За ближней дверью стрекотала машинка. Каждый должен был постучаться, войти, сорвать шапку и рапортовать. Потом, если все в порядке, бегом по коридору

к выходу на другое крыльцо. Там ждала зуботычина и пинок в зад. На этом заканчивалась регистрация.

Они вошли в эту комнату. Высокий лейтенант и приземистый Набиркин стояли у порога — руки по швам. Пальцы старика Набиркина были почти вровень с коленками. Он и тогда уже выглядел стариком. Так он запомнил эту минуту: прямой, неподвижный профиль товарища, тонкая шея с кадыком; в комнатухе жарко, топится печь, на окне — решетка; горит яркая лампочка, хотя на дворе еще день. Немцы, сидевшие за столом, не взглянули на них — один стучал на машинке, другой перелистывал списки, им было безразлично, кто стоял перед ними.

Набиркин был тысяча восемьсот девяносто пятого года рождения, родился в деревне Звонари Курской губернии, русский, православный, беспартийный, колхозник, звание — рядовой. (Он торопливо отпартовал это, точно вывалил из мешка картошку.) Лейтенант был с девяносто одиннадцатого года, место рождения... — «Ве!» — рявкнул писарь, и они побежали по коридору.

«Ве! Ве!» — пошел! — слышалось и перед дверью в конце коридора, и на крыльце. Все по очереди скатывались со ступенек и занимали место в колонне.

Отсюда был виден вход в зону — каменное двухэтажное здание вахты с караульной вышкой и воротами; сквозь решетку виднелась уходящая вдаль дорога, плоские здания бараков и плац. На вышке стоял часовой, его круглый шлем чернел на фоне неба. Кроваво-красный флаг империи лениво плескался над крыльцом вахты.

Толпа бросилась к воротам, едва раздалась лающие звуки команды. Внезапная паника охватила людей, каждый думал об одном: скорей очутиться за воротами. Перед створом чуть приоткрытых ворот, куда с трудом могли протиснуться два человека, началась звериная давка. Это казалось невероятным — люди сами рвались в концлагерь. Если бы ворота совсем закрылись, они полезли бы вверх по чугунной решетке.

Охрана бесстрастно взирала на эту суматоху. На этот раз никого не били, ни одного выстрела не прогремело. Не было надобности.

Кто-то рванул створку ворот на себя. Толпа устремилась в проход. Человеческий фарш стал продавливаться в ворота. Старик Набиркин, отчаянно и бесполезно толкавшийся в задних рядах, был в этой давке сбит с ног.

Выручил лейтенант. Рявкнув бешеным матюгом, распихал ослепших, лезущих. Какой-то мужик, ощерившись, лягнул высокого лейтенанта сапогом в живот. Набиркин поднялся на ноги и кинулся на мужика...

К дерущимся подбежали в горшках, заработали приклады. Медленно, ржаво заскрипели железные петли ворот, и толпа вынесла их на дорогу. Лейтенант был тот самый ларешник, а Набиркин — так и остался Набиркин.

Глубокой ночью Вересов пил чифирь в Курском вокзале, в кругу законных воров и ближних шестерок.

На черной глади густого, смолистого напитка волновались желтые блики. Кружка переходила из рук в руки. На ее приготовление пошла целая пачка чая.

Питье действовало быстро, с первого глотка золотистый дракон, извивавшийся в чаше, вонзил когти в сердце. Нужно было перетерпеть сердцебиение, не выронить чашу — глотнуть снова. И медленно, как сходит ночь, околдовывал душу чифирь.

Сидели с серьезными лицами, тесным кружком. Роняли тяжелые, как сургуч, слова.

«Кончать его надо было, суку...»

«Пес смрадный...»

«Рпустили паскуд...»

«Нет, я чего скажу... У нас на Севере бы не допустили. Сука буду. У нас бы не допустили.»

«У нас, у нас. У нас козел хрудьями тряс.»

«Ты, морда с ручкой! Ты с кем ботаешь? Ты кого хлестаешь?»

«Кончайте, подлюки, развопились. Почифирить не дадут.»

«Леха, в рот стеганный! Пой!»

Леха улеся головою на стол и не шевелился. Язык не ворочался. «Леха!» — рявкнул генерал.

Леха поднял голову, силпо затынул: «Этап на Север, срока агромные. Кого ни спро-осишь, у всех Указ.»

«Взгляни, взгляни в глаза мои суровые!» — в отчаянии подхватил нестройный хор.

«...Чего я скажу — Ушатый трекал. Этап готовят. Всех воров на Север.»

«Брекает...»

Вконец окосевший Леха с трудом спел «Не для меня» и «Звенят бубенчики». Ржавой пилой резанул сердце...

«Звенят бубенчики, звенят бубенчики. Ветер звон доно-осит.»

«А молодой жулик, молодой жулик начальничка просит!» — певцу втерил хор полумертвыми голосами.

Чаша по очереди опрокидывалась над каждым ртом.

«В-в-в!» — забормотал, дрожа, Леха, — Ууу! — он завыл сиротливым псом. — Вот она, сука, вот она.»

В дверях стояла баба-кикимора.

«Бей ее!»

Кружка полетела в дверь. Блатные, сбившись в кучу, дружно крестились. Мир распадался...

Все это время генерал сидел на главном месте, не участвуя в т о л к о в и щ а х. Одним присутствием Вася Вересов давал тон и значительность собранию. Авторитет его нимало не уцербился, вернее, тотчас и с лихвою был восполнен крутой расправой с обидчиком, и теперь,

с полузакрытыми глазами, скрестив поросшие рыжим волосом руки в синих наколках. Вересов был еще больше и как никогда достоин занимать место легендарных вождей Гориллы и Мухомора, зарубленного три года назад в столовой, при выходе из кино. О чем он грезил, какие думы внушил ему наркотик, звенящий в крови?

Таинственное прошлое Вересова предстало перед ним в образе его отца, каким он видел его в последний раз, в ночь, когда отец ушел из дому. Было это в деревне, в 32 году. Давно и бесследно исчезнувший из его жизни, он смутно виднелся у порога, на том месте, где стоял ларешник, где повредившийся певец Леха увидел грудастую и косматую бабу. Васю тяжело мutilо. Вся секция с рядами нар медленно поворачивалась, и ему показалось, что он сидит в корабельном трюме, под ним качается пол, пароход плывет по Охотскому морю. Что-то приподнимало его, это была волна за бортом и одновременно волна тошноты, поднявшаяся из желудка.

Он двинулся к выходу. Но выхода не было. Страшное сознание обреченности, нелепой гибели живьем на дне качающегося парохода пронизало Вересова. Рука, покрытая татуировкой, уцепилась за край стола.

Кругом все спали. Ледяной ветер дул в лицо генералу. Впалку лежала шобла — народ Вересова, его подданные, бригада «аля-улю». Его супруг, Рябчик, простерся на койке. Зловещий храп оглашал тусклый чертог.

А на дворе цепенела полночь, на вышках дремала в тулупах караульная стража, и усталые псы, седые от инея, усевшись на задние лапы, протяжно выли на лунный круг, маслянистым пятном проступивший в небе.

1967 2

ДОРОГА НА СТАНЦИЮ

В толпе народа нарядчик — рослый мужик — выбрал меня, потому ли, что я первый попался ему на глаза, или потому, что сидел у вахты с пустыми руками. А кругом стояли: кто с самодельным сундучком, кто с торбой, а кто и с чемоданом. Богатого мужика сразу по чемодану узнаешь, по веревке, которой чемодан этот у него обвязан. Пустой чемодан кто станет обвязывать? Перевешать бы их всех на этой веревке!

— Ты! — сказал, подходя ко мне, нарядчик. — Вон того, слепого, с узелком, понял? Проводишь до станции... Не отходи от него, понял?

А мне этот слепой был — как до звезды дворца. Только и не хватало мне этого слепого. У меня, может, своих забот было выше маковки.

— Доведешь до вагона и посадишь.

— Ась? — сказал я.

— Да ты что, глухой? — рявкнул нарядчик.

Пришлось, само собой, подчиниться. Наше дело такое — слушай да помалкивай, на то они и начальство, мать их за ногу.

Все было кончено. У каждого в подкладке лежал билет и справка, в которой все расписано по пунктам. Кто ты, и когда, и на столько лет, и статья. Листочек махонький, однако дороже головы. «При утере не возобновляется». «Видом на жительство не служит». По этой-то причине со справкой, прибыв на положенное тебе место, прежде всех дел, прежде матери родной, нужно было представиться в милицию: вот я такой-сякой прибыл, вот мой чирьями покрытый затылок, вешайте хомут. По справке выдадут пачпорт. А дальше чего? А дальше никому из тех, кто сейчас переминался с ноги на ногу, ожидая, когда отворят ворота, неведомо было, что его там ожидает. Никто толком не знал, что он будет делать на воле, где и с кем будет жить и кем работать. Все давно отвыкли от той жизни, и никто ее себе не представлял.

По дороге со слепым то и дело обгоняли. Какой-то мужик из черных, в лохматой бараньей шапке, сопя волосатыми ноздрями, чуть не сшиб меня с ног своим сундуком.

Я проворчал ему вдогонку:

— Легче ты, морда...

Тотчас он остановился.

Почувяв неладное, я хотел было обойти его стороной... Мой напарник послушно следовал за мной.

— А ну-ка ты, пахан...

— Ась?..

— Ты глухой или нет? Ходи сюда.

Я подошел.

— Закурить есть?

Я полез в штаны — и в один миг кисет вылетел у меня из рук, перед глазами как бы вспыхнуло пламя, и я с размаху сел на землю.

Эх! Наше дело такое — помалкивай...

— Паскуда! — наставительно произнес в бараньей шапке. — Теперь будешь вежливая, сука...

— Мать твою за ногу, — пробормотал я, но, к счастью, он уже не слышал. Вот, значит, как: с чего началась когда-то моя лагерная жизнь, тем она и окончилась. Да и то сказать, много ли силы надо, чтобы ковырнуть с копыт долой такую вот старую трухлявину.

У меня гудело в голове и ныли ягодицы.

— Сейчас пойдем, — сказал я слепому, — обожди маленько.

— Тебя в лагере били? — спросил я у слепого, когда мы стали спускаться с горки. Вокруг нас рос все такой же чахлый кустарник, и до станции было далеко.

— А то как же, — сказал он.

— А мне так в первый же день обломилось. Вот как сейчас помню — и не верится, что столько лет прошло.

Я стал рассказывать:

— Пригнали нас зимой — этап триста гавриков. Все с одной тюрьмы. Суток десять тряслись в столыпине, потом в теплушках, ехали, охали — приехали. Вылезай! Вылазим: братцы... Куда ж это нас загнали...

Кругом тайга, сугробы, конвой: вагоны оцепили, автоматы наизготовку, пулеметы. Цельная армия. Собаки гавкают... Ну, разделили нас на две половины, восемьдесят рыл отобрали, остальных — в сторону. Слышим: строймя! по четыре! Пошли пересчитывать. Сосчитали. Колонна, внимание! За неподчинению закону, требованью, конвою! Попытку к бегству! И прочее... Следуй!.. И потопали мы — акурат на старую пересылку, — может, помнишь.

— Помню, — сказал слепой, — как не помнить.

— Впустили нас. Ладно. Побросали мы на снег свои узлы — у многих еще с воли тряпки были оставши. Стоим, осматриваемся: бараки, из труб дым идет, ничаво, жить можно. Подходит помнарядчика, красный, морда — что твоя задница: чего, говорит, ждете тут, землячки? Я и скажи ему: ждем, говорю, у моря погоды. — А вы что, порядка не знаете? — Не знаем мы, мол, ваших порядков, а только, мол, не худо бы сначала в столовую, почитай третьи сутки не жрамши. Что это, говорю, за порядки, за такие. — Хорошо, говорит, сейчас я тебе наши порядки объясню. — Подходит ко мне эдак не спеша и раз в ухо! Ну, я удивился. За что? — спрашиваю. — А за то, говорит, чтобы пасть свою не раскрывал, падла! Повернулся и пошел... Слушай, — перебил я свой рассказ, — давай посидим маленько. Ноги у меня — мать их за ногу...

— Ладно, — сказал слепой. — Только недолго.

— Вечером отвели нас в секцию, — продолжал я, — ночуйте, говорят. А там ни нар, ничего, по углам иней, в окнах фанерки вместо стекол. До печки дотронуться боязно: руки обморозишь. Ну, а мы и рады: все не на улице. Ладно. Только это улеглись, смотрим — дверь настежь, и входят два пацаненка. Жиденькие такие. Один ко мне подошел, так на нем бушлат чуть не до колен, весь в дырках, и руками его придерживает, чтобы не распахнулся. Потому как у него там под бушлатом голое тело. Проиграл, знать, все дочиста... Подходит и говорит: дяденька, говори, не спишь? — Ну, сплю, а тебе что. — Дяденька, говори, дай-ка я тебя посмотрю, чего там у тебя в сидоре. — А сопливого мово, говорю, облизать не хочешь? Положь, говорю, мешок на место! — Молодой я еще был, на язык острый... — Ишь, говорю, чего захотел! Катись откудова пришел, паршивец, а то сейчас встану и живо штаны спущу. — Ой, дяденька, говорит, да ты, оказывается, шутник! — Смотрю я, еще подходят, повыше росточком, и еще, и в дверях уже стоят... а пацаны эти, мелочь, ровно клопы, так вокруг и шныряют. Наши-то никто ни гу-гу, будто в рот воды набрали. А те знай шерудят. Старик один со мною рядом лежал, так он сам снял ключ с шеи и, гляжу, сундук свой уже отпирает. А сам тащил энтот сундуцище на хребте своем десять верст, едва живой добрался... Оглядываюсь я — а уж мешочка как не бывало. Ау... Шмотки у меня были, между прочим, хорошие: две рубахи совсем еще целые. Гали новые — в камере с одним махнулся на одеяло. Как сейчас помню. Все улыбнулось... И так меня это зло взяло! Ребята, говорю, что ж это вы делаете. Своих же товарищей грабите! Отдайте мне хоть рубаху, говорю. Такой тут хохот поднялся... Что с тобой, говорят, папаша, аль

с луны свалился? Как-ие тебе тут товарищи?.. А курат мне это припомнилось, как на меня следователь орал. Я его спервоначалу тоже, по запарке, товарищем обозвал: товарищ следователь, говорю, разрешите я объясню... А он мне: какой я тебе доварищ! Какие еще тебе тут товарищи! Я те такого товарища дам... Так и тут. Это, говорят, папаня, только на воле товарищи бывают, да и то смотря кто. А здесь все от зубов зависит. У кого зубы длиннее, тому и кусок достается. А у самого, кто говорит, передних-то зубов и нету — знать, выбили... Ах, вы, говорю, сучье племя, кусошники вонючие, мародеры. Мало вас, сволочей, наказывают! — И сразу смех утих. Тишина такая... смотрю, шобла эта расступилась, подходит ко мне хвигура. О-го, говорит, какие к нам рысаки приехали. Вставай, сука... Подымайся, кому говорят. Чего это, — говорю, мне и здесь хорошо. Это я так, говорю, — пошутил. Ка-ак он зорет, мать честная! П о д ы м а й с я , п а д л и н а . Выволокли меня в сени... Погоди, дай отдохнуть.

— Ну, пошли, что ли.

— Эх, — пробормотал я, поднимаясь, — старость не радость... И куды нам спешить? Все равно раньше ночи поездов не будет.

— Здорово он тебя шуранул.

— Кто? Черный? Да нет, это не от этого. У меня ноги сами собой болят. Еще пока сiju, ничаво. И до другого барака дойду — тоже ничаво.

— А дальше? — спросил слепой.

— Дальше что? Ясное дело. Отметили меня, будь здоров — обратно еле приполз. С носу текет, зубы — которые сочатся, которые шатаются, здесь саднит, там хрустит — сiju, бока свои шупаю. Кругом уж все спят, умаялись с дороги. Тут старик — сундук у которого — ко мне пододвигается, шепчет: ну как? Цел? — Цел, говорю... Все равно, говорю, я это так не оставляю. Я на этих собак жаловаться буду. Буду писать аж до самого Верховного Совета! — Старик на меня поглядел, поглядел. Спрашивает: ты на воле кто был? Чай, из деревни колхозник? — Колхозник, говорю, а что? — По указу? — Да нет, говорю, какой еще указ? — Я еще тогда про указ и не слышал. — Пятьдесят восьмая? А за что? — спрашивает. — А я-и сам, говорю, не знаю за что. В войну у нас немцы стояли. Там потом, когда наши вернулись, сразу полдеревни забрали. Приехали три машины, и ау, поминай как звали. — Старик молчит. Потом полез в свой пустой сундук, достает оттель какой-то лоскуток: на, говорит, утрись... высморгнись. Эх, ты, говорит. Мужчина пожилой, а ума не накопил. Чего ты рыпаешься, чего вперед других лезешь? Хвост подымаешь. Тебе больше других надо? Жаловаться собрался. На кого? На всех не нажалуешься... Тут этой шоблы, знаешь, сколько? — косяками ходют. Их сюда тоннами сгружают, эшелонами возют, возют — не перевозют. Тут пол-лагпункта в законе, а другая половина — шестерки, вораи кашу варят. Тут закон — тайга, медведь — прокурор. Это за проволокой — заключенные. А снаружи и вовсе одно зверье. Жаловаться... Куда ты полезешь

жаловаться, ты на всем свете один. Сиди да помалкивай... — Ну, я, пожалуй, того, присяду, — сказал я слепому.

Справа кювет, слева дорога. Мы молча плелись по обочине, держась друг за друга. Замечтавшись, я вспомнил один за другим те далекие годы. Может, они мне приснились?

— Приеду домой, вот matka обрадуется, — ни с того ни с сего горделиво сказал слепой.

— Ась? — очнулся я.

Впереди опять тянулась дорога, за кюветом, по правую руку, торчали обглоданные деревья, пни... Как же, подумал я, обрадуется. Есть чему радоваться — без глаз-то.

— А ты ей писал?

— Про чего?

— Ну, про это самое... — сказал я. — Про свою жизнь.

— Не, — сказал слепой, подумав. — А чего писать? Сама все и увидит.

— А баба у тебя есть?

— Да, была одна... — Он поправил за спиной мешок.

— Ну и как?

— Что как?

— Как ты насчет ее располагаешь?

— Насчет бабы-то? Да никак. Не поеду я к ней. На хрена она мне сдалась.

— Жена она тебе?

— А то кто же... Писала тут. Жду, приезжай.

— Ну и ехал бы.

— Не, не поеду. На черта мне... Я лучше к матке.

— Да... — вздохнул я. — Каждый, конечно, рассуждает как ему лучше. Я вот тоже. И так и сяк прикинешь. И все на одно выходит. Я так думаю, что нам с тобой, брат, по-настоящему не вперед надо теперь идти, а назад. Вот куда топать надо по-настоящему-то... Я уж который месяц думаю: ну, освободят меня. А куды я пойду? В деревне, чай, никого уж и не осталось. И что я там буду делать, кому я там нужен?

— Зато на воле, — сказал слепой.

— На воле? А что в ей, в этой воле? На воле тебе пайку хлеба не поднесут. И одежду не справят, не надейся. А еще жилье надо, и пачпорт, и черт-те что. И куды ни сунешься, всюду на тебя пальцами будут тыкать: ты, мол, такой-сякой, немазаный, изменник родины, поди-ко подальше... А в лагере я, к примеру, дневальный: убрал свою секцию, печки истопил, потом работяг встретил, начальству баланду принес. И лежи себе на нарах, отдыхай. В лагере у меня крыша над головой, и харч, и все меня знают. Нет, я человек старый, мне польку-бабочку не танцевать. И бабы мне не нужны. Ничаво мне не нужно! Я, может, всю жизнь свою одну загадку разгадывал: что человеку нужно? А ему ничаво не нужно. И мне не нужно. Вот сейчас доведу тебя до станции, а сам пойду назад проситься. Возьми меня, скажу, начальник, сделай милость, нет у меня дома, здесь мой дом, мать его за ногу!

Я разволновался и теперь уже никак не мог успокоиться.

— Постой, дед, не шуми,— сказал слепой.— Неужто тебе хоть на старости лет на жизнь-то поглядеть не хочется?.. Да ты не садись, пошли.

— Не пойду я! Куды я пойду? Ничаво мне не нужно..

— Ну и дурак.

Мы оба умолкли. Каждый думал о своем.

— Глупый ты, дед,— сказал слепой, подождав, пока я отдышусь.— Чего ты заладил? Хуже лагерей не будет.

Я встал, и мы двинулись дальше.

— Все одно, не сейчас, так потом, а я вернусь,— убежденно сказал я.

— Ты, дед, не торопись. Мы, может, еще все сюда вернемся.

— Это как же? — спросил я.

— А вот так. Только мы не печки топить вернемся. И не баланду носить. Мы вернемся писарей ловить. Ты на меня не смотри, что я такой,— сказал вдруг слепой, уставившись в небо.— Я хоть такой, да всех помню. И другие помнят. Мы их всех, гадов, разыщем, выловим их, сук, всех до одного! И за мошонки повесим.

— Кого это? — не понял я.

— Писарей! Тебя, дед, я смотрю, еще учить надо... Ты вот сам своими шариками сообрази. Положим, ты оттянул червонец — по какому такому закону? Кто его, этот закон, выдумал? Кто тебе срок намотал? На горбу на твоём кто десять лет катался? Может, бригадир? Или надзиратели?.. Не-ет, и они, конечно, виноваты, и еще много виноватых, да не в них главная суть. А вот те, кто пишут,— вот от них все зло. Это они все! Их и не слышать, по конторам сидят, суки. Сидят и пишут... На жуком члене в рай хотят въехать! Пишут, гады, а народ мучается.

Помолчали.

Я не стал ему перечить.

«Эх, ты! — хотел я ему сказать.— Уж молчал бы... Кому, кому, да не нам с тобою кулаками размахивать. Разбираться, кто прав, кто виноват... Наше дело такое — помалкивай!»

Я поглядел по сторонам. Нехорошо мне было, не по себе. Где-то внутри мутило, голова налилась свинцом. До станции было далеко. Кругом кустарник, чернолесье, дорога, да лужи болот, да желтая трава. Да еще низкие облака над лесом. Русь наша, матушка...

Я споткнулся и вдруг сел на землю.

Слепой остановился. Потеряв мою руку, он растерянно тыкал палкой перед собой. Мешок висел у него за плечами.

— Ты, але... — сказал он, беспокоясь.— Где ты, дед? Что с тобой? Вставай, ты... вставай... как тебя звать-то?

— Я без имени,— бормотал я.— Без имени я...

НОВАЯ РОССИЯ

О чем же мы станем беседовать? У меня, вы знаете, всего одна идея, и если бы ненароком в моем мозгу оказались еще какие-нибудь идеи, они, конечно, тотчас прилепились бы к той одной: угодно ли это для вас?

Чаадаев. Из письма к Пушкину.

Вот я сижу и в который раз перебираю свои безутешные мысли. Пытаюсь извлечь из них какой-нибудь окончательный вывод. У меня в мозгу действительно только одна идея, и, о чем бы я ни подумал, все сходится к ней. Я думаю о своей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринял бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна. Хаотична и разнолика, что ее история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что ее просто нет. И что на самом деле я сопричастен лишь некоторой эмпирической реальности, более или менее неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить свое отношение к этой реальности, избегая метафизических терминов, таких, как Россия, русский народ и пр.

В действительности это не так, и я ощущаю эту страну физически, как ощущают близость очень дорогого человека. И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, где и на каких условиях я обрету для себя новый очаг. Мысль о новом супружестве меня не привлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене. Короче говоря, я слишком русский человек для того, чтобы всерьез на пятом десятке начинать новую жизнь в качестве израильянина, парижанина или американца. Проще всего было бы сказать: эта страна погибла, и с ней больше нечего делать.

Вот уже по крайней мере три года я вижу себя в невероятной ситуации. Становится осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать вон, бежать, не оглядываясь, не прощаясь, не тратя времени на сборы и расставания, уехать — и чем дальше, тем лучше.

Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы на десять минут открыли ворота лагпункта и сказали бы: кому надоело — сматывайтесь. Это было бы какое-то нечеловеческое столпотворение. Самые знатные лагерные придурки: нарядчик, помпобит, завстоло-

вой — побросали бы свои замечательные должности, свои теплые места и смешались бы с теми, кого совсем недавно отделяла от них социальная пропасть, не менее глубокая, чем пропасть, отделяющая рабочего от секретаря райкома. И начальник лагпункта, оперуполномоченный, часовые на вышках и вся псарня растерянно глядели бы на эту бегущую толпу и, может быть, тайне завидовали бы им, а потом спохватились бы, что десять минут уже прошло, и с наслаждением заперли бы тех, кто не успел выбраться.

Я слышу вокруг себя: такой-то уехал. И такой-то уехал. Их становится с каждым днем все больше. Пустеет вокруг: все меньше остается друзей или тех, кто мог бы стать мне другом. Правда, такой-то все еще не добился визы, но и он непременно уедет. Что самое удивительное, этот такой-то до такой степени полон решимости добиться своего, он так уверен в своей безнаказанности, он настолько сошел с ума, что даже не помышляет о том, чтобы скрываться. Наоборот: он трубит об этом на всех перекрестках, говорит и пишет, взывает и настаивает, и похоже, что и его наконец выпустят — чтобы избавиться от него. «Выпустят!» — вот словечко, сделавшее излишними доводы и объяснения. Выпускают из клетки, из тюрьмы.

Если бы даже уехало только сто семей, если бы их, этих отпущенников, набралось всего полтора десятка, ситуация не перестала бы выглядеть невероятной и чудесной, и такой она останется навсегда для поколения людей, выросших в убеждении, что покинуть Советский Союз невозможно, как невозможно забросить камень так высоко, чтоб он не упал обратно. Это поколение, искалеченное страхом, ни в чем не продемонстрировало так свою увечность, как в своем понимании патриотизма. Ведь ему и в голову не приходило, что любовь к родине ничего не стоит, если известно, что родину нельзя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевидную для нормального человека мысль, что условием любви может быть только свободный выбор возлюбленной и что принудительность патриотизма умерщвляет самую идею привязанности к отечеству. Вы можете сколько угодно сидеть дома, не чувствуя надобности выйти на улицу, но как только до вашего сознания доходит, что дверь заперта и у вас нет ключа, родной дом превращается для вас в тюрьму.

Поколение, к которому я принадлежу, знало и, можно сказать, всосало с молоком матери, что говорить на эти темы не полагается. Самая мысль об отъезде была преступлением; высказанная вслух, она гарантировала лагерный срок, ибо ставила под сомнение коронный тезис о том, что мы живем в самом лучшем в мире государстве, где наконец достигнуто все, о чем мечтали спокон веков лучшие умы. Тут, как всегда, действовал закон двухэтажности, закон афишируемого и подразумеваемого, и радость по поводу воплотившихся грез весомо обеспечивалась безмолвным, но внятным предупреждением: а кто не радуется — пожалеет. Так вечно неунывающий массовик-затейник, называемый пропагандой, не давал скучать народу — хлопал в два прихлопа, и топал в два притопа, и призывал становиться в круг; а в дверях маячили «розовые лица, ре-

вольвер желт». И вдруг как бы сама собой дверь, неизвестно почему, приоткрылась.

Но ведь это были люди, которые выросли в тюрьме. Здесь они учились говорить, на этом каменном полу ползали несмышленишками. Я знал человека, сидевшего много лет. Он со страхом думал о приближающемся конце срока. В лагере, что бы ни произошло, он по крайней мере знал, что ему обеспечена пайка в четыреста граммов и место на нарах. В лагере прошло полжизни, здесь были его друзья, прошлое, здесь все его знали и он знал всех. Лагерь был его отечеством. И он спрашивал себя, что он станет делать на воле. Кому он там нужен? Я хорошо понимал его. Я знал многих таких, как он. В конце концов я и сам когда-то вышел за ворота, испытывая противоречивые чувства: радость и растерянность. Растерянность была сильнее радости.

Сама собой — хоть и не без помощи властей — возникла теория о том, что нам нечего делать на воле. Теория, в известном смысле подобная теории о том, что свет вреден для зрения. Ожила легенда, которая должна объяснить, отчего мысль об эмиграции сама по себе, независимо от заповедей и запретов и независимо от преимуществ советского строя, невозможна, несообразна, позорна и противоестественна. Легенда эта состоит в том, что истинно русский человек в силу коренных особенностей своей души не может жить на чужбине. Не нужен ему берег турецкий, и Африка ему не нужна. Он скажет: не надо рая, дайте родину мою. Если он писатель, ему не о чем писать, если он певец, то теряет голос и т. д. в бесчисленных вариациях, как будто бы не было или нет за границей русского языка, русской мысли, русского искусства и русской свободы. Поэтическая версия этого мифа заключается в том, что бесчеловечный Запад противопоставлен идеалистической русской душе, а прозаическая — в том, что за рубежом придется худо, так как там надо вкалывать. С этой точки зрения все мы являемся своеобразными инвалидами: не говорим на иностранных языках, ни ступить, ни молвить не умеем и не умеем трудиться.

Нечего и говорить о том, что коварнейший момент всей этой ситуации тот, что уезжают евреи. Вопрос нелепым образом обернулся чем-то вроде проверки подлинности. Истинно русскому человеку лучшего доказательства и не надо. Народное самолюбие, народная подозрительность, народный патриотизм злорадно тычут в нас пальцами. Тысячи губ складываются в презрительную гримасу.

«Бегут. А-га! Бегут, как крысы. Что им Россия!..»

И это относительно благородная позиция, ибо в ней как будто содержится признание, что Россия в самом деле тонущий дредноут; можно встретить смерть, стоя на шканцах, а можно и спрыгнуть в воду. Я стараюсь вычленил из того, что говорится об эмиграции евреев, все принадлежащее собственно официальной точке зрения, так как очевидно, что она не заслуживает вовсе никакого уважения. Но в том-то и дело, что отделить «официальное» от «народного» нет никакой возможности. На самом деле то, что извергают газеты, то и есть.

Не видно, чтобы простой советский человек проявлял особую охоту рассуждать об эмиграции; не видно, чтобы эта тема его особенно воодушевляла. Когда же он все-таки пытается сформулировать свое мнение, выясняется, что собственного мнения у него нет. Обо всем, что выходит за пределы обыденного, советский человек говорит словами, вычитанными из «Огонька». Иногда он как будто чувствует, что за этими словами нет ничего — никаких чувств и никаких мыслей. Но это только подтверждает, что он не испытывает никакой нужды в собственном взгляде на вещи.

Он оскорблен, обижен. По его словам, оставить родину — это все равно, что изменить родине. С одной стороны, он представляет себе дело так, что за границей живется легко, там тепло и не нужно валенок, там можно спекулировать и наживаться, оттого они туда и едут. С другой стороны, он знает, что за границей безработица и власть капиталистов и что простаков ловит вражеская пропаганда; и вообще — там хорошо, где нас нет. Он похож на одного из героев Аверченко, который объяснял детям, что курить папиросы нехорошо — особенно такие плохие папиросы. И детям хотелось курить все подряд: сухие листья, подобранные на тротуаре окурки и роскошные длинные папиросы «Герцеговина Флор».

Хочется бежать без оглядки — а куда, не так уж важно.

И не все ли равно, что о нас будут говорить. Ведь мы представители племени, чье дело при всех обстоятельствах проиграно. Как бы мы ни поступили, о нас скажут дурно. Что нам терять!

... Небо над головой меняет тот, кто бежит за море. Небо, а не душу. Я этот стих зазубрил с младых ногтей. Страх и впитанное с материнским молоком рабство мешают нам оттолкнуться от берега. Значит, мы недостойны называться свободными людьми, недостойны свободы. Как это всегда бывает, мы заслужили свою участь. Но я не желаю признать себя рабом — и не хочу отречься от матери. И я нашел выход. Я сформулировал для себя главную мысль, но я не виноват, если она покажется абсурдной. Абсурдная истина порождается абсурдными обстоятельствами.

Как-то раз я присутствовал на сессии районного Совета депутатов трудящихся, далеко от Москвы. Это было одно из немногих собраний такого рода, на которых мне пришлось побывать, и отнюдь не из тех, на которых принимают важные решения: я вообще не видел общественных собраний, на которых кто-нибудь бы решал; и все же я нахожу, что оно обогатило мой жизненный опыт. Обсуждалось положение дел в колхозах. Выступил местный прокурор. Он настаивал на решительных мерах, для того чтобы прекратить продолжающееся под разными предлогами бегство молодежи из села. Этот прокурор, говоривший с сильным деревенским акцентом и, очевидно, сам происходивший из деревни, не понимал, насколько нелепо звучали его слова. Но не о нем речь. На сессии выступила одна колхозница. В отличие от других ораторов

она производила впечатление неглупой женщины. Она говорила о положении в их хозяйстве.

История до смешного напоминала ситуацию царя Авгия, но тут было не до смеха. Помещения для скота были настолько запущены, что коровы и телята стояли по брюхо в навозе. Через несколько месяцев они должны были утонуть.

Это была эпоха постановлений о крутом подъеме животноводства. Очистить стойла не было никакой возможности. Не найдя другого выхода, колхозники с большим трудом воздвигли новые помещения, а старые бросили.

Я уважаю позицию патриотически настроенной интеллигенции, выражающей надежду, что рано или поздно некий очистительный поток омоет Россию — эти единственные в своем роде Авгиевы конюшни. Я только не вижу Геракла, способного выполнить необходимые канализационные мероприятия. Это не попытка сострить. Все черно впереди, и никогда еще не было столь ясного сознания всеобщей и невылазной беды, никогда я не чувствовал так отчетливо, что у всех нас и у наших детей ампутировано будущее. Мало было мук и унижений, вынесенных нашей страной, и когда-нибудь ее постигнет оглушительная расплата за то, чем она является сегодня. Спасением был бы, вероятно, распад империи, возникновение какой-нибудь федерации или возврат к международному статусу, аналогичному статусу Московского государства, — но это невозможно.

Куда же нам деваться? Бросить все?

Перед глазами, словно галлюцинация, стоит Русь — страна, куда лиса и кот привели доверчивого Буратино. В этой стране пасутся козы с выщипанными боками, вдоль заборов робко пробираются шелудивые жители, а на перекрестках стоят свирепые городовые. «Права держи!» Сыщики нюхают воздух и подозревают самих себя. В этой стране, в полицейском участке, за столом, закапанным чернилами, густо храпит дежурный бульдог. В этой стране было двенадцать миллионов заключенных, и у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней проживало двенадцать миллионов предателей. Это та самая страна, которую в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя.

«Бегут. Что им Россия!»

Что ж, в определенном смысле — я никогда не был патриотом. В своей стране я чувствовал себя ссыльнопоселенцем. Я привык стыдиться своей родины, где каждый день — унижение, каждая встреча — как пощечина, где все — пейзаж и люди — оскорбляет взор. Но тайное чувство шепчет мне, что этот стыд есть род извращенной любви.

Не нам воротить нос от этой тьмы и слякоти, мы и сами, как говорится, с конца копия вскормлены, — сами коротали вечера с коптилкой, потому что керосиновая лампа была для нас недоступной роскошью. Не об этом речь, а о том, что на этой искалеченной земле будто бы нашла приют величайшая душевность. На эту душевность указуют нам как на некое национальное сокровище, уникальный продукт, вроде паюсной

икры, и мы, дескать, лишимся его, уехав на чужбину. А я вижу всеобщее помыкание друг другом и презрение к человеческой личности, вижу, как государственные служащие унижают и обкрадывают каждого, кто мало-мальски зависит от них, как мужчины топчут достоинство женщин и взрослые оскорбляют детей. Я вижу, какую ненависть вызывает в нашей стране всякое проявление утонченности — красота, талант и оригинальность. Все убогое и немудрящее, напротив, приветствуется. Каждый народ воображением своих писателей создает собственный идеальный портрет. В данном случае это портрет доброго, мягкосердечного и непрактичного человека, не умеющего копить и приобретать, наивного и бесхитростного, готового последнюю рубаху снять и отдать ближнему и превыше всего на свете ставящего правду, которую он понимает как справедливость. Я спрашиваю себя, насколько этот образ соответствует действительности.

«Бегут!». Народ — советский народ — в нас не нуждается, кем бы мы себя ни объявляли: русскими, евреями или русскими евреями. Помому, вопрос не в том, могут или не могут оставаться в Советском Союзе евреи, еврейская судьба — это только парафраз судьбы интеллигенции в этой стране, судьбы ее культуры, и еврейское сиротство есть символ иного, духовного одиночества, порожденного крушением традиционной веры в «народ». Раньше все обстояло проще: существовало деспотическое правительство и народ, который простира к нам руки, зывая, как предполагалось, о помощи. Сейчас — кругом одни обломки. Я отдаю себе отчет в том, что то, что я говорю, не разделяют многие интеллигенты еврейского происхождения: ведь им кажется, что они ощутили в себе зов библейских предков. (Правда, я подозреваю, что по крайней мере для некоторых из них «национальное самосознание еврейства в СССР» есть особая форма произрастания вбок, когда не дают расти прямо, — новая форма инакомыслия.) И вовсе я не собираюсь отречься от того, что я еврей. Я еврей самой чистой воды, все мои предки до одного были евреи. Но в это слово я — для себя — вкладываю другой смысл. Я отстраняюсь от еврейского изоляционизма не только потому, что не верю в него, — роль евреев диаспоры представляется мне иной, да и скучно было бы жить «в себе», — но и потому, что я не считаю, что оскорбленная и поруганная человечность нашла единственное прибежище в еврейском народе. Высшим доводом в споре с оскорбленными евреями для Достоевского, как помним, было то, что «коренной нации» приходится еще горше. Спор, таким образом, свелся к вопросу, кому хуже; каждая сторона ревниво отстаивала эту привилегию. Я согласен, что евреи терпят бедствие — еще бы, — а я всегда видел себя только среди тех, кто терпит бедствие. Но не они одни оскорблены и унижены. Евреи идут ко дну, потому что идет ко дну Россия. И поэтому я с ней.

Я знаю, что когда я буду лежать на дне сырой и скользкой ямы на Востряковском кладбище, под дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные частоколы, оперативные уполномоченные, стукачи и пьяницы. Меня будет пресле-

довать кошмарный сон о стране, которая, подобно доисторическим животным, погибла оттого, что она была слишком большой, но последние слова, которые я оставляю ей, будут написаны по-русски.

В море обломков единственное, за что я могу уцепиться, это русский язык. Веру в язык я противопоставляю вере в народ — в умершего Бога. Религиозное отношение к языку кажется мне, впрочем, вполне еврейским.

Скажут: что за безумие твердить о языке почвы и нации. Я могу ответить на это только то, о чем я уже писал в другом месте. Патриотизм в русском понимании слова мне чужд. Та Россия, которую я люблю, есть платоновская идея; в природе ее не существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна. Но вообразить себя в среде, где умолкла русская речь, я не в силах. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать.

Напрасно думают, что бред умалишенного отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю только один способ ломиться наружу. Безумие мое бредит по-русски.

Я понимаю, что выстроить новые конюшни, а старые попросту бросить, вместо того, чтобы взяться за расчистку, — это есть образец решения проблемы в истинно российском духе; на языке науки он именуется экстенсивным способом ведения хозяйства. Таким способом за исторически короткий промежуток были загажены огромные территории. (Последний пример — освоение целины.) Но в притче с коровниками сокрыто, по-моему, рациональное зерно. Разумеется, страна уже не может вернуться к былой изоляции, влияние внешнего мира будет ощущаться все сильнее, и в конце концов все это приведет к каким-то переменам. Но мы не доживем до подлинного возрождения. Не доживут и наши внуки. Мы будем влачить жалкое существование лишних людей, техническая интеллигенция будет мучиться сознанием того, что она служит дьяволу милитаризма, гуманитарная — проклинать себя за то, что продалась дьяволу демагогии, и в любом случае мы останемся иудеями в прямом и переносном смысле, презираемым народом и неполноценными с точки зрения властей. Время от времени нас будут сажать в психиатрические больницы и лагеря, потом ненадолго нам посветит мартовское солнышко либерализации, чтоб вновь уступить место ледяным морозящим дождям, и так будет продолжаться до тех пор, пока все мы вместе с нашими правителями не угробимся в какой-нибудь грандиозной катастрофе — в какой-нибудь бессмысленной войне с желтым соседом. Нет, для нашего поколения есть другой выход.

История знает Новую Англию и Новую Голландию, знает примеры

колоний, которые со временем, в силу закона обратного действия, подобного действия следствия на причину, оздоравливали и облагораживали метрополию. Нет надобности заниматься политической деятельностью. И бессмысленно обращаться к власти, которая по самой своей природе не способна нас понять. Но можно основать русскую колонию где-нибудь в Канаде, Австралии, в Новой Зеландии или вообще где угодно. Давайте сговоримся и махнем туда все. Там много места — в отличие от этой большой страны, где так тесно. Пускай в этой Новой России будет только тысяча граждан. Она станет расти, как кристалл. Там, на новой земле, как на новой планете, мы взрастим нашу свободу, сохраним наш язык, наш образ мыслей, нашу культуру и нашу старую родину.

1974 г

СОДЕРЖАНИЕ

Страх	4
Взгляни в глаза мои суровые	20
Дорога на станцию	34
Новая Россия	40

ХАЗАНОВ Борис

СТРАХ

Рассказы

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 10.04.90. Подписано к печати 25.05.90. А 00301 Формат 70 × 108^{1/2}.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл.
кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,39. Тираж 150 000 экз. Заказ № 2159. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● ЧЕКОВАЯ КНИЖКА

**Удобство и практичность —
ОЧЕВИДНЫ!**

Это именной денежный документ, который можно получить в учреждении Сберегательного банка СССР. Чековая книжка выдается вкладчику, хранившему средства во вкладе до востребования не менее 6-ти месяцев или получающему заработную плату через учреждение Сберегательного банка СССР.

Чековая книжка действительна два года со дня выдачи, но если Вы использовали не все 11 отрывных чеков, срок действия может быть продлен еще на два года.

Чек можно оплатить промышленные товары или услуги.

Владелец чековой книжки может получить по чеку наличные деньги в любом учреждении Сберегательного банка страны.

Чек действителен при предъявлении паспорта.

ВЛАДЕЛЕЦ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ

пользуется всеми преимуществами вкладчика:
порядок совершения операций по вкладам и доход — 2% годовых — СОХРАНЯЮТСЯ!

● Сберегательный банк СССР к Вашим услугам!